

Сэмюел Дилэни



ПОВЕСТИ
НЕВЕРИОНА

Мастера фантазии

Сэмюэл Дилэни

Повести Неверииона

«Издательство АСТ»

1978, 1981

УДК 821.111-312.9(73)
ББК 84 (7Coe)-44

Дилэни С. Р.

Повести Невериона / С. Р. Дилэни — «Издательство АСТ», 1978,
1981 — (Мастера фантазии)

ISBN 978-5-17-146162-1

Неверион – это древний мир, в котором наивность, хитрость и предприимчивость его обитателей сплетаются в сложное кружево противоречивых отношений и взаимосвязей. Неверион – это парадоксальное отражение современной цивилизации с ее вечными вопросами о свободе и рабстве, вере и предрассудках, любви и насилии. Неверион – это круговерть приключений и огорчений, испытаний и терзаний, легкокрылых драконов и причудливых законов, крохотных мячей и двойных мечей. Старый, очень старый мир, который никогда не станет архаичным.

УДК 821.111-312.9(73)

ББК 84 (7Coe)-44

ISBN 978-5-17-146162-1

© Дилэни С. Р., 1978, 1981
© Издательство АСТ, 1978, 1981

Содержание

Повести Невериона	6
Вернуться... Предисловие	6
Повести Невериона	12
Повесть о Горжике	13
Повесть о старой Венн	38
Повесть о юном Сарге	65
Конец ознакомительного фрагмента.	72

Сэмюел Дилэни Повести Невериона

Samuel R. Delany

Tales of Nevèrÿon

Neveryóna, or: The Tale of Signs and Cities

© Samuel R. Delany, 1979, 1983, 1988, 1993

© Перевод. Н. Виленская, 2022

© Издание на русском языке AST Publishers, 2023

* * *

Повести Невериона

Посвящается Джоанне Расс, Луизе Уайт и Айви Хэкер-Дилэни

Вернуться... Предисловие

Человечество все еще пребывает в доисторическом состоянии, ожидая подлинного сотворения мира. Мы находимся не в начале, а в конце нашего бытия – подлинное бытие начнется лишь тогда, когда общество и экзистенция станут радикальными, то есть отыщут свои корни. Корнем истории, однако, является человек – работающий, производящий, реформирующий, преодолевающий окружающие его данности. Если люди отыщут себя и принадлежащее им на основе подлинной демократии, без деперсонализации и отчуждения, в мир придет то, что освещает любое детство и где никто еще не бывал: дом.
Эрнст Блох¹, Принцип надежды

Автор приглашает нас в далекую страну за рекой, протекающей неизвестно где. Где же все-таки? Одни полагают, что в Средиземноморье, другие – в Месопотамии. Логично, впрочем, предположить, что страна эта находится в Азии или Африке. А климат и география (город между горами и морем, где бывает дождь и туман, но нет снега) очень напоминают Пирей или Сан-Франциско, где до написания этой серии, если верить биографам, жил Дилэни.

Одно ясно: все это происходит в глубокой древности.

Насколько все же глубокой? Четыре тысячи лет назад, шесть тысяч, восемь?

Самое точное указание, напечатанное на бумажной обложке первого издания, отсылает нас к «пограничью истории». В этой древней стране царит полный хаос, из которого постепенно, страница за страницей, появляется то, что делает историю узнаваемой: деньги, архитектура, ткачество, письмо, столица... Присутствует здесь и магия – то в виде драконов, разводных в Фальтских горах, то в виде огромного страшного чудища, полубога-полуживера.

Читатель может заинтересоваться, почему это предисловие пишу я, персонаж одной из будущих книг. Чувство действительно странное, но мне нравится. Издатель просил меня упомянуть о загадочном происхождении этих книг (вам, возможно, уже встречались заметки об археологических находках, которые легли в их основу). Я согласилась при условии, что мне позволят включить сюда пространное историческое отступление. Но кое-что в этой серии отклоняется от первоисточника в пользу вымысла. Как бы то ни было, объясняю еще раз – как для новых читателей, так и для старых, которые уже про меня забыли: представляйте меня как среднюю афроамериканку, работающую в большей частью белой среде среднезападного университета, в студентах так и не сумевшую выбрать между математикой и немецкой литературой. (Отношения между нашими факультетами математики и современной литературы слишком сложны, чтобы исправить это теперь.) Когда я получала свою первую степень, последним криком была теория категорий, от которой затем отпочковалась теория наименований, списков и перечисления; понимают ее человек семьдесят пять во всем мире, и только двадцать способны с ней как-то работать. Я решила утвердиться как раз на этих тихих высотах, а в летние каникулы путешествовала и читала тексты на самых древних и экстравагантных языках, какие только могла найти.

¹ Эрнст Блох (1885–1977) – немецкий философ-неомарксист.

Где-то в середине семидесятых мне выпала задача приложить теорию наименований, списков и перечисления к переводу текста примерно из девятисот слов (количество зависит от языка), называемого Кулхарским фрагментом или Миссолонгским пергаментом. Этот отрывок дошел до нас в нескольких переводах на древние языки.

Поводом для моей работы стало открытие в запасниках Стамбульского археологического музея еще одной версии Кулхара, на языке древнее всех предыдущих. В примечании к тексту, написанному на самом раннем варианте греческого языка (линейное письмо Б), утверждается, что это первая письменность в истории человечества, а линейное письмо Б употреблялось примерно за полторы тысячи лет до н. э.

Но поскольку Кулхар существует лишь в частичных и противоречивых порой переводах, мы не знаем наверняка, каким письмом он был выполнен первоначально, и не можем быть уверены в его географическом происхождении.

Происхождение письменности столь же туманно и проблематично, как происхождение языков в целом. Некоторые из этих проблем в приложении к первой книге неверионской серии обсуждает мой друг, а порой и коллега, С. Л. Кермит.

Приложение это написано по моей просьбе. Дилэни, с которым я пока не встречалась лично, прислал мне на адрес университета дружеское письмо о том, как много для него значит моя работа. (До сих пор заметки о ней появлялись лишь в самых заумных журналах, но скоро они, благодарение богам, сольются в долгожданную книгу.) Он спрашивал также, не могу ли я или кто-то из моих знакомых написать о моих дешифровальных успехах в виде приложения к его сборнику. От его имени, что бы там ни говорил мой дорогой старый друг (хотя обстоятельства, надо признаться, были сложные, время поджимало, а погода стояла просто ужасная), я попросила профессора Кермита написать эту статью в своей доходчивой, ясной манере.

Все, кого интересуют детали, могут прочитать приложение к первой книге и перейти к приложению № 2.

Я работала с этим древним, неполным, отрывочным документом, читая о варварах, драконах, затонувших городах, знаках на тростниковой бумаге, воительницах с двойными мечами, об одноглазом мальчике и загадочных мячиках много месяцев, растянувшихся затем на несколько лет; и меня радует, что мои изыскания и комментарии привели Дилэни к созданию собственного Невериона.

В превосходном эссе профессора Кермита, входящем в эту книгу, много говорится о том, как Кулхарский документ помог Дилэни разработать сюжет его фэнтези. Однако распространяться об этом до того, как вы прочли саму книгу, значит предполагать, что между постмодернисткой литературой и текстами древнего Ура существует более тесная связь, чем на самом деле. Кулхар и неверионские повести связывает скорее воображение, чем научный анализ. Книги Дилэни, если на то пошло, представляют собой деконструкцию Кулхара, что означает «анализ возможных (в отличие от невозможных) значений, опровергающий все надежды когда-либо расшифровать данный текст». Этот термин очень полюбился мне, как и многим другим, за последние десять лет, но профессор Кермит его решительно отвергает.

Однако просьба издателя написать вступление ко всей серии книг Дилэни меня порадовала не меньше того факта, что внимание Дилэни к Кулхару привлек именно мой перевод. Сейчас и начну.

Рекомпиляция этого обширного фэнтези вернет к нему внимание многих тысяч читателей; некоторые, возможно, вспомнят даже первоначальную «Повесть о Горжике», опубликованную в «Сайенс фикшн мэгэзин» Айзека Азимова весной 1979. Повесть номинировалась на премию «Хьюго», а сборник первых пяти повестей в бумажной обложке, вышедший в том же году – на премию «Американская книга». В сборнике «Повесть о Горжике» стала, как мы видим, длиннее.

Мега-фэнтези Дилэни, взятое вместе – это завораживающая смесь идей, зеркальный зал, интригующие рассуждения о власти, сексуальности и самом литературном повествовании. «Повесть о старой Венн», вторая в сборнике, комментирует матч между утонченным интеллектом и примитивной страстью. В третьей, «Повесть о юном Сарге», проглядывает садомазохизм, как всегда занимательный, а девятая, «Повесть о чуме и карнавалах», рассказывает, можно сказать, о вспышке СПИДа в крупном американском городе.

Куда все это ведет, спросите вы?

Но в этом и заключается очарование неверионской серии.

Некоторые критики обнаружили в ней веяния столь разных трудов (и пародии на них же), как «Три очерка по теории сексуальности» Фрейда; «Законы формы» Спенсера Брауна; «Критика политической экономии» Маркса; «Открытое общество и его враги» Карла Поппера; «Платонова аптека» Деррида и, наконец, «Волшебник из страны Оз». Другие сочли ее громоздкой нелепицей; то, что Дилэни затратил десять лет на маргинальный проект в маргинальном жанре, представляется им маниякальным упрямством.

Но нам не нужно вникать во все оттенки аллюзий этой серии, чтобы насладиться историей бывшего рудничного раба в мире драконов, варваров, амазонок, доисторической роскоши, извращенных страстей и тогдашних мыслителей. Если бы мы в них вникали, Дилэни не завоевал бы аудиторию, насчитывающую уже сотни тысяч читателей благодаря трехтомнику в бумажной обложке. Да и не так много у нас столь изощренных читателей, чтобы их уловить.

Неверионскую сагу характеризуют по-разному. Сам Дилэни назвал ее «детским садом семиотики». Лично я слышала на факультетской вечеринке, как на чей-то вопрос, что это за произведение, ответили так: это ближе к *Der Mann ohne Eigenschaften*, чем к *Die Frau ohne Schatten*². Но любимое мое определение дала автор научной фантастики Элизабет Линн. На одной веранде в округе Уэстчестер кто-то спросил Лиззи насчет первого тома, только что вышедшего. (Не помню уже, знали ли они, что я слышу их разговор.) «Представь, – сказала она, – что отправился на выставку картин с интеллигентным, высокообразованным другом, прекрасно осведомленным на предмет экономики того времени, знающим биографии художников и их моделей, цитирующим отзывы критиков на каждое полотно; и ты, переходя с ним от картины к картине, желаешь лишь одного: чтобы он заткнулся!»

Ничего себе рекомендация для героического фэнтези!

Но поразмыслим немного. Этот благожелательный надоедливый голос, бубнящий свое перед каждой картиной – голос мастера, – всегда говорит нам о двух вещах. Одна из них правда: «История доступна для обсуждения. В ней можно разобраться и объяснить, почему случилось то или иное несчастье. А поскольку история человечества еще не закончена, можно оценить и изменить обстоятельства, приводящие к подобным несчастьям. Каждый человек вправе овладеть этим умением в течение своей жизни». Второе утверждение, неразрывно связанное с первым – ложь: «Историю уже много раз обсуждали, поэтому любая попытка узнать что-то еще в лучшем случае ошибочна, а в худшем крамольна. То, что у нас есть хоть какие-то инструменты исторического анализа, означает, что история в каком-то смысле завершена. Всё идет так, как должно, и ничего нельзя изменить. Наши муки и наши радости, как физические так и духовные, определены высшей властью, как бы она ни называлась – Богом или самой историей; поэтому ни один человек не вправе оспаривать то, что мучает его или доставляет удовольствие мне».

Голос, несущий эту двойную весть, имеет ценность только в диалектическом процессе – можно даже сказать, в диалоге. (Утверждения, допустимые в начале дискуссии, недопустимы в конце.) Но если ложь нельзя заглушить целиком – слишком тесно она связана с нашим опытом,

² «Человек без свойств» (нем.). – незавершенный роман Р. Музиля; «Женщина без тени» (нем.). – опера Р. Штрауса.

языком и желаниями, – то автор может, по крайней мере, сделать акцент на правде и попытаться показать, где она, а где ложь.

Выход возможен всегда.

Марксисты традиционно заявляют, что когда Дефо говорит от лица проститутки Молль Флендерс, а Пол Т. Роджерс³ – от лица гея-проститутки Синдбада, голос автора, отстаивающего интересы своего класса, все равно слышен через речь персонажа; его классовое происхождение всегда можно определить путем литературного анализа, хотя рассказчик якобы пролетарий.

Но представьте себе затруднения нашего марксиста при чтении, например, монолога в восьмой части серии «Повесть о лицедеях» (а также его леденящего кровь постскриптума в 6-й главе девятой части «Повесть о чуме и карнавалах»), где автор говорит от лица актера, играющего мужчину-проститутку. Для начала читателю придется распутать все эти апроприации – а где-то за кулисами, почти полностью разделяя позицию читателя, стоит Мастер, нагнетая устами своего персонажа негодование, которое, как мы видим из постскриптума, приобретает, хотя и бессознательно, убийственные пропорции.

Кто же от чьего лица говорит? Что написано, а что сказано, и где среди всего этого искать правду?

Читателям, нуждающимся в подтверждении, что автор знает, о чем пишет, приятно будет узнать, что 6-я глава «Повести о чуме и карнавалах» перекликается с лекциями Поппера о Платоне (с оглядкой на Райла)⁴, но это не обязательно для понимания, что Дилэни – сторонник свободного политического диалога и противник политической закрытости. Эта позиция, иногда ясная, иногда зашифрованная, доступна и убежденным марксистам, и убежденным капиталистам, и тем, кто еще не определил свою сторону в этой всемирной дискуссии.

Дилэни дал своей серии общее название «Возвращение в Неверион», а поскольку в английском оригинале слово «Nevèryon» пишется таким образом, издатель опасается, что диакритические знаки оттолкнут самую загадочную из статистических категорий – массового читателя (не вас, конечно, и не меня); он будто бы читает только ради сюжета, глух к литературному стилю и приветствует порнографию и насилие, оставаясь при этом на удивление довольным личным и политическим статус кво.

Кстати о понятности. «Повесть о сплетне и желании», как сказал мне издатель во время совместного обеда, Дилэни написал, когда планировался двухтомник коротких неверионских новелл. Эта, последняя в двухтомнике, повесть задумывалась как переход от «Повести о драконах и мечтателях» к «Повести о тумане и граните» для тех, кто не одолеет полномасштабный роман «Невериона, или Повесть о знаках и городах», который, хотя и представляет собой шестую часть серии, слишком велик, чтобы втиснуть его в два этих тома – которые, к сожалению, так и не вышли в свет. События этой повести разворачиваются сразу после окончания «Неверионы»; если хотите, тогда же и прочтите ее, но уверяю вас, что никакого тематического смысла в этом не будет. Ее прерывистая игра только запутает вас при погружении в плотный туман третьей книги.

«Возвращение» Дилэни предназначается, конечно, не только для читателей, уже ознакомившихся с его фэнтези. Ссылаясь на немецкого философа Эрнста Блоха, чья цитата из «Принципа надежды» служит эпиграфом к моему предисловию, Дилэни в своем научно-фантастическом романе «Звезды как песчинки в моих карманах» (писавшегося параллельно с первыми неверионскими повестями) говорит следующее:

«Дом? Это место, куда нельзя прийти в первый раз: к тому времени, когда оно становится домом, вы там уже не раз побывали. Домой можно только вернуться».

³ Пол Т. Роджерс (1936–1984) – американский писатель, автор единственного романа «Книга Саула».

⁴ Гилберт Райл (1900–1976) – английский философ.

В книгах, куда нас просит вернуться Дилэни, есть намек на «вечное возвращение» Ницше. По замыслу автора, в Неверион, как и домой, можно только вернуться – и Дилэни, в соответствии с этим, постоянно возвращается (пересматривая ее) к романтической позиции, связанной с названием романа Томаса Вулфа, на которое он с легкой насмешкой ссылается в приведенной выше цитате⁵. В своем эссе о «Приключениях Аликс» Джоанны Расс, говоря о соотношении фэнтези и научной фантастики в ее книгах, Дилэни пишет: «Жанр «меч и колдовство» относится к картинам будущего, называемым научной фантастикой, примерно так же, как простая арифметика к булевой алгебре... Еще точнее его можно представить как переход от бартерной экономики к денежной, в то время как научная фантастика – это переход от денежной экономики к кредитной».

Это подразумевает, что в любой фантастике место, *куда* возвращаются, исторически неразрывно связано с местом, *откуда* в него возвращаются.

Ностальгическое воссоздание далекого прошлого всегда производится из культурных материалов настоящего, отчего прошлое предстает как нечто загадочное, неизвестное и не поддающееся познанию. Подобные произведения, основанные будто бы на исторических трудах, являются в действительности антиисторическими – или, во всяком случае, продуктами нашей текущей истории.

Панорама прошлого, создаваемая Дилэни, имеет очень мало общего с какими-либо древними обществами, культурами или географическим местоположением. Автор не стремится исследовать то, что было когда-то. Нам остается сделать лишь маленький скачок – к чему побуждают нас предшествующие каждой части эпиграфы, – чтобы понять: на самом деле это современная концепция того, что могло бы быть. Протягивая руки к экзотике, мы на самом деле суем их в собственные карманы проверить, что там застряло в швах. В «Повести о чуме и карнавалах» Дилэни пишет для тех, кто еще не понял: «Неверионская серия от первой повести до последней – это документ нашего времени, составленный притом очень тщательно».

Кроме того, это увлекательная приключенческая фантастика, а все ее части вместо взятые образуют черную комедию о сексе и власти, что отнюдь не является портретом какого-либо воображаемого прошлого.

Поверьте мне, я-то знаю. Первоначальным, так сказать, исследованием занималась я.

Некоторые читатели Дилэни заново пересмотрят (в который раз) этот калейдоскоп идей и образов, интеллектуальной твердости и воображаемого величия, лунного тумана и гранита с вкраплениями слюды, бесед и споров. Другие столкнутся со всем этим впервые. Я определяю эти книги как фэнтези, а Дилэни, придерживаясь термина «меч и колдовство», введенного Фрицем Лейбером, называет их «паралитературой». При их перечитывании, однако, невольно вспоминается популярная цитата из австрийского писателя Германа Блоха: «Литература есть нетерпение, проявляемое знанием». Поэтому меня подмывает назвать их просто литературой – ведь они исследуют область, о которой история мало что знает, а нам не терпится знать. Если бы это писалось в 60-х, мы могли бы назвать неверионскую серию «спекулятивной фантастикой»: тогда этим термином обозначалась смесь экспериментальной и фантастической литературы. Но она, при всей своей исторической тематике, определенно принадлежит последней четверти двадцатого века.

Наше возвращение начинается (и заканчивается) вторжением в первоисточник современной культуры, включая представления современной культуры о прошлом. Будто бы заманивая в другой век и другую страну, оно показывает нам сквозь кривые (или, лучше сказать, формообразующие) линзы паралитературных условностей наш родной дом. Вместо погружения во что-то экстремальное мы в очередной раз приходим домой... еще один способ сказать,

⁵ Роман Т. Вулфа «You Can't Go Home Again» (1940) в русском переводе называется «Домой возврата нет», что не соответствует смыслу, который в него вкладывает Дилэни.

что просто *прийти* домой невозможно. Поэтому, прежде чем начать первую повесть, помните, что мы прекрасно знаем материал, из которого она сделана.

Это наше родное, наше сиротское.

Дешифровальная работа вроде моей (возвращаясь к началу) не гарантирует точности. Та часть манускрипта, что вдохновила Дилэни, переводилась больше десяти лет назад. Успехи в области работы с самыми стойкими – возможно, вечными – памятниками человечества представляются нам самим весьма эфемерными и всеобщее внимание привлекают не часто. Даже маленький триумф вряд ли прославит ученого – но я надеюсь, что даже те читатели, которые «возвращаются» сюда впервые, вспомнят Кулхарскую рукопись.

Я счастлива представить вам чудо, зародившееся из моего скромного труда.

Итак, вернемся в Неверион...

*К. Лесли Штейнер*⁶

Энн-Арбор, лето 1986

⁶ К. Лесли Штейнер, С. Л. Кермит – псевдонимы С. Дилэни.

Повести Невериона

И если предположение об ответственности за собственные высказывания приводит нас к заключению, что все заключения по определению условны и поэтому неконклюдивны, что все оригиналы одинаково неоригинальны, что сама ответственность может сосуществовать с легкомыслием – это еще не повод для мрачных мыслей... Деррида, таким образом, просит нас изменить некоторые стандарты мышления: источники не всегда авторитетны; первоисточник – это след, противоречащий логике; мы должны научиться пользоваться языком, одновременно его вычеркивая... Мы всегда связаны перспективами, но можно хотя бы как можно чаще обращать эти перспективы в обратную сторону, показывая, что оппоненты – на самом деле сообщники... принцип единства противоположностей есть инструмент и следствие уравнивания, а растворение противоположностей – жест философа, направленный против жажды власти и потрясающий самые основы ее.

Гаятри Чакраворти Спивак⁷. Предисловие переводчика к кн. Жака Деррида «О грамматологии»

⁷ Гаятри Чакраворти Спивак (р. 1942) – американский философ индийского происхождения, теоретик литературы.

Повесть о Горжике

Поскольку нам приходится иметь дело с неизвестным, чья природа по определению спекулятивна и лежит вне текущей цепочки знания, любое наше действие по отношению к нему будет не более чем вероятностью и не менее чем ошибкой. Сознавать, что в рассуждениях возможна ошибка, и несмотря на это продолжать рассуждения – это столь важное явление в истории современного рационализма, что его значение, как мне думается, нельзя переоценить... Тем не менее, вопрос, как и когда мы убеждаемся в том, что действуем, вполне возможно, неправильно, но говорим, что это, по крайней мере, начало, следует изучить во всей его исторической и интеллектуальной полноте.

Эдвард Вади Саид⁸. Начала: идея и метод

1

Мать утверждала, что происходит из великого рода рыбаков с Ульвенских островов. Глаза у нее правда были как у них, но волосы не такие. Отец-моряк повредил бедро в плавании и с тех пор работал в порту Колхари кладовщиком у богатого купца. Горжик рос в самом большом портовом городе Невериона, поэтому его детство было значительно более бурным, чем хотели его родители, и причиняло им немало тревог – хотя повезло ему куда больше, чем кое-кому из друзей: его не убили в случайной стычке и даже не арестовали ни разу.

Детство в Колхари... Солдаты и матросы со всего Невериона слоняются по Старой Мостовой, купцы с женами фланируют по Черному проспекту, названному так из-за покрытия, в жаркие дни липнувшего к сандалиям; путешественники и торговцы беседуют у портовых гостиниц – «Отстойника», «Кракена», «Притона»; рабы и рабыни снуют повсюду. Те, что принадлежат аристократам, одеты получше иных купцов, но есть до того грязные и оборванные, что мужчин от женщин не отличишь. Железные ошейники, однако, носят все поголовно: поверх новых или обтрепанных воротников, поверх голых плеч, на тощих или мясистых шеях; порой их даже прикрывают оборки из тонкого дамаска, расшитые бериллами и турмалинами. Горжика часто посещало воспоминание: из комнаты, где монеты, столбиками и россыпью, лежат на листах исписанного пергамента, он заходит на склад к отцу и вместо тюков шкур или конопли видит десятка два людей, сидящих, поджав ноги, на грязном полу; кто-то прислонился к глинобитной стене, трое спят в углу, один справляет малую нужду над канавой посередке. Угрюмые, безмолвные, голые, не считая железного обруча на шее. На него они даже не смотрят. Когда он приходит на склад час, два или три спустя, там уже пусто, а на полу лежат двадцать раскрытых ошейников, и от каждого тянется цепь к вделанному в стену кольцу. В прохладном воздухе висит смрад, в соседней комнате позвякивают монеты. Сколько ему могло быть лет – пять, шесть, семь? На улице за складами женщины делали украшения, мужчины плели корзины, мальчишки за пару медяков продавали печеный картофель – зимой холодный и хрусткий снаружи, чуть теплый внутри, летом горячий с сырой сердцевиной; матери звали дочерей из окон, занавешенных пальмовыми циновками: «Сейчас же иди домой, тут работы полно!»

Весной с юга приходили красные корабли, о которых говорить запрещалось. Они привозили черные мячики. (Запретные темы обсуждались куда как подробно в темных переулках, в кабаках, за колодцами – о них, не гнушаясь сквернословия, толковали и мужчины, и женщины. Бывает, однако, и такое, что ни в высокие, ни в низкие слова не укладывается. Простые умы

⁸ Эдвард Вади Саид (1935–2003) – американский литературовед арабского происхождения.

ужасаются подобным вещам, более изощренные делают вид, что этого вовсе не существует. Корабли, обеспечивая пищу и тем и другим, продавали свой груз, и говорить о них запрещалось.) Мячик, упругий и твердый, легко помещался в мужском кулаке; при надрезе в нем обнаруживался пузырек величиной с ноготь. Гонись такой по улице, отбивая рукой, к ближайшему колодцу и говоришь стишок:

Пошли с Бабарой мы опять,
Чтоб Яму южную занять,
Но не случилось – кабы знать!
Враги нас обратили вспять,
И полегла вся наша рать,
А полководцу наплевать...

Повторяешь и импровизируешь на ходу, а под конец говоришь:

И охнул орел, и заплакал змей,
Как пророчица и сказала!

И впечатываешь мячик в колодец с солевыми подтеками. Он взлетает высоко. Мальчишки и девчонки подскакивают, щурясь на ярком солнце. Кто поймает, гонит мяч к следующему колодцу.

Иногда говорилось «как безумная ведьма» или «безумная Олин сказала», хотя никто не знал толком, что это значит. Сторонников «безумной ведьмы» дразнили: ясно же, что такая о плохом не станет предупреждать. Некоторые мячики падали в колодцы, некоторые просто терялись, как теряются все игрушки. К осени они все пропадали. Горжик грустил из-за этого: он долго тренировался на заброшенном колодце за зерновым складом и научился запускать мячик выше всех своих сверстников – только старшие ребята бросали выше. Но стих застревал в памяти и всплывал, через все более долгие промежутки, перед сном в зимние вечера или на берегу Большой Кхоры следующим летом.

Улицы Колхари, где звучала ругань на десяти языках... На Шпоре Горжик узнал, что «вольдрег» означает «обгаженная срамная часть верблюдицы»; этот эпитет часто слышался в гортанной речи северян в темных хламидах, но, если сказать им «ини», что значит «белый цветок», можно нарваться на оплеуху. В Чаячьем переулке, где жили большей частью шепелявые южане, женщины, таская обмазанные глиной корзины с водой, говорили «ниву то, ниву сё» и посмеивались – но когда он спросил девчонку-южанку Мьесе, носившую в «Кракен» рыбу и овощи, что это значит, она прыснула и сказала, что мужчинам этого лучше не знать.

– Это про то, что с женщинами каждый месяц бывает? – спросил он со всей осведомленностью городского четырнадцатилетнего парня.

– Ну, это вам как раз знать полезно. – Мьесе, придерживая корзину на бедре, отвела плечом кожаную занавеску, служившую «Кракену» задней дверью днем, когда убирали доски. – Нет, женские крови тут ни при чем. Взбретет же такое в голову – да что с вас взять, с городских.

Так он и не узнал, что это за ниву такое.

Нижний конец Новой Мостовой (называемой так от десяти до десяти тысяч лет) упирался в гавань. В верхнем, где улица пересекала мост Утраченных Желаний, прохаживались, пили и торговались шлюхи мужского и женского пола – кто родом из дальних стран, кто из самого Колхари; в большинстве своем смуглые от рождения или загоревшие дочерна, как все порядочные горожане (в том числе Горжик), но попадались и бледные, желтоволосые, сероглазые, шепелявые варвары (вроде Мьесе).

Кажется, в этом году их стало больше, чем в прошлом?

Одни стоят на солнце почти что голые, на других нарядные юбки, пояса, ожерелья; у большинства женщин и половины мужчин глаза обведены черным. Одни сонные и едва шевелятся, другие улыбаются и задевают прохожих – то засмеются, то вдруг обозлятся, и тогда по мосту порхают свеженькие ругательства, объединяющие женский срам, мужское семя и кухонную утварь. Но истории у всех, если с ними заговорить, на удивление схожие, как будто одна и та же жизнь, полная бедности, обид и страданий, передается от одного к другому – на время, только чтобы про нее рассказать; разными бывают только названия их городков, имена родичей-обидчиков да провинности, из-за которых рассказчик не может вернуться домой.

На пыльных дворах с каменными постройками останавливались торговые караваны с мулами, лошадьми, фургонами и телегами. Там Горжик как-то разговорился с караванным стражником, который стоял в стороне от других, занятых игрой в кости.

Стражник, вытирая потные ладони о короткую кожаную юбку, начал рассказывать о разбойниках, промысляющих в горах и в пустыне – но тут к ним, пыля парчовым подолом, подбежал сморщенный, как чернослив, купец с клочковатой бородой и вычерненными зубами.

– Ты! – закричал он, потрясая кулаками. – Никогда больше тебя не найму! Караванщик мне рассказал, какой ты ворюга и лгун! Стану я доверять свои грузы трусу, пособнику грабителей! Вот... – Он швырнул стражнику в грудь горсть монет, и тот шарахнулся, словно их раскалили в кузнечном горне. – Тут половина условленного – забирай и скажи спасибо, другой бы тебе и железяки не дал.

У стражника на бедре висел нож, а у стенки позади него стояло копьё, притом он был моложе, больше и определенно сильнее разгневанного купца, однако он подобрал монеты, бормоча что-то – даже не выругался вслух, – взял копьё и поспешил прочь, оглянувшись только раз, на углу. Другие стражники прервали игру и подошли ближе, явно ожидая, что им-то заплатят полностью. Старик, еще не остыв, увел их на склад, а Горжик так и не услышал, чем кончилась история про разбойников.

В другой раз, когда они с друзьями играли около гавани, их из-за груды бочек окликнула женщина:

– Эй, ребятки! – Ростом она была выше, чем отец Горжика, с волосами короче, чем у его матери. Лицо ее избороздили морщины, мозолистые руки и ноги потрескались. – Где тут прачек нанимают?

Дети переглянулись.

– Так где же? – Говорила она с сильным акцентом и была еще темней Горжика, которого часто дразнили черным. – Сказали, что где-то здесь. Мне работа нужна... скажите, куда идти?

Горжик распознал в ее голосе страх; детям трудно понять, чего могут бояться взрослые, особенно такие высокие и сильные, как она.

– Зря ты хочешь в прачки, – сказала одна из девочек постарше. – Туда только варварок нанимают, на Шпоре.

– Мне нужна работа, – повторила женщина. – Где это – Шпора?

Один мальчишка стал показывать ей дорогу, но другой с воплем подкинул вверх мячик, и они помчались прочь, перекликаясь, перескакивая через бухты канатов, обегая перевернутые лодки. Горжик оглянулся – женщина что-то кричала им вслед, – но приятель утащил его за угол, и он так и не узнал, о чем она еще хотела спросить. Весь остаток дня за криками портовых грузчиков и своей веселой ватаги он слышал ее, слышал затравленный голос нужды, страха, надежды...

Потом как-то раз в нежилом, пустынном дворе, он увидел на заброшенном колодце парнишку (на пару лет старше себя? лет шестнадцати-восемнадцати?).

Худющий какой, первым делом подумал Горжик при виде угловатых плеч и тощих коленок. Кожа у них была одинаковая, темно-коричневая, но у другого парня она казалась совсем черной из-за грязи, покрывавшей его с головы до пят. Смотрел он не на Горжика, а куда-то на

мостовую, поэтому Горжик подошел совсем близко, разглядел у него на шее железный ошейник и остановился как вкопанный.

Его бросало то в жар, то в холод, сердце громко стучало. Когда в глазах чуть-чуть прояснилось, Горжик заметил еще и рубцы на боках у парня – одни розовые, другие темные. Он знал, откуда они, хотя раньше никогда их не видел – по крайней мере, так близко. В провинциях преступников – и, конечно, рабов – наказывают кнутом.

Отчаянно желая уйти, он простоял несколько секунд, минут или часов перед парнем, который по-прежнему на него не смотрел. Нет... всего лишь секунд, сообразил Горжик один вздох спустя, когда его ноги пришли в движение. На следующем углу он остановился,дохнул еще трижды и на четвертый раз оглянулся.

Молодой раб все так же смотрел в одну точку из-под своего колтуна.

У Горжика накопилось десять, двадцать, пятьдесят вопросов, которые он хотел бы задать – но при одной мысли о разговоре с парнем в ошейнике дыхание у него пресекалось и сердце начинало бешено колотиться. Наконец, с третьей попытки, он пробежал за колодцем обратно, насчитав на спине у раба еще шесть рубцов, – они переплетались, и потому казалось, что их там штук сто. Выждал минуты три и опять прошел мимо, на этот раз спереди. Прошелся еще дважды и поспешно ушел, боясь, что их увидит случайный прохожий, хотя раб (беглый? безумец, отбившийся от хозяина или брошенный им?) все так же смотрел в одну точку.

Полчаса спустя Горжик вернулся.

Раб теперь сидел на мостовой, закрыв глаза и прислонившись к колодцу. Безмолвные вопросы Горжика перешли в воображаемый разговор с сотней ответов, сотней историй. Горжик прошел всего в паре дюймов от грязных ног парня и удалился по Безымянному переулку, говоря себе, что вдоволь насмотрелся на горемыку.

Но разговор на этом не оборвался.

Когда Горжик снова пришел туда в наползающих сумерках, раба у колодца не было. Он перешел на другую сторону двора и спал, скорчившись, у стенки лабаза. Горжик, опять пройдя мимо несколько раз, затаился у входа в переулок и стал смотреть. История этого парня продолжалась у него в голове – порой неразборчиво, порой живо и ярко, как в жизни или во сне, а двор с колодцем и битыми глиняными горшками таял в густой синеве вечернего неба, слегка разбавленной серпом месяца...

Раб вытянул ногу, снова поджал, потер рукой щеку.

Сердцебиение Горжика опять прервало рассказ. Наедине с собой ему казалось, что проще некуда будет подойти к парню, когда тот проснется, заговорить, спросить, откуда он и куда направляется, посочувствовать, сводить его к Татуму покормить, дать монетку, послушать о его злоключениях, предложить дружбу, что-нибудь посоветовать...

Раб сжал руку в кулак, зашевелился, привстал.

Страх и завороченность сковали Горжика снова, как и в тот миг, когда он увидел ошейник. Он укрылся в дверной нише и выглянул.

Через двор прошли две женщины, ведя за руки ребенка. Горжик замер, но они обратили на него не больше внимания, чем на раба у стены. Раб, переждав их, медленно встал. Его пошатывало. Он сделал шаг; Горжик заметил, что он хромает, и срочно стал пересочинять уже сложившуюся историю.

Вот сейчас бы и выйти. Кивнуть ему, улыбнуться, что-то сказать...

Женщины с ребенком свернули на улицу Мелкой Рыбешки.

Раб ковылял к колодцу.

Горжик прирос к своей нише.

Раб дошел до колодца, доходившего ему до пояса, но внутрь не заглянул. Месяц освещал его волосы, торчащие колом на голове. Он поднял голову к небу, где проплывало одинокое облачко, взялся за ошейник и потянул...

То, что произошло в следующий миг, от Горжика ускользнуло. В его истории беглый раб, подняв глаза к небу, тщетно дергал за ошейник, обличающий его перед отрядами, что ищут работников на южные земли (теперь особенно рьяно, как говорят).

В действительности железные полукружия на петлях сразу открылись: то ли ошейник не был заперт, то ли сломался замок. Обруч с распавшимися челюстями походил на жвала сказочного дракона или на один из загадочных знаков, наносимых отцом Горжика на стенку своего склада.

Раб бросил ошейник в колодец.

Лишь после всплеска, услышанного не сразу, Горжик понял, что раб в самом деле снял с себя ошейник, незамкнутый или сломанный, – и, непонятно почему, весь покрылся мурашками. Плечи, бока, бедра пробрало холодом, вцепившиеся в каменный косяк пальцы вспотели. Горжик судорожно глотал воздух ртом, а в уме кишели вопросы. Может, это преступник, только прикинувшийся рабом? Или все-таки раб, который теперь, сняв ошейник, будет притворяться преступником? Или просто сумасшедший, чьей запутанной истории он, Горжик, никогда не узнает? Или на все это существует какой-то резонный ответ, которого он не видит лишь потому, что задавал неправильные вопросы?

Неизвестный снова сел на брусчатку.

Иди же, убеждал себя Горжик. Поговори с ним. Ты больше и сильнее его, хоть он и старше. Какой будет вред, если ты спросишь, кто он, попробуешь что-то о нем узнать? Все еще пробираемый холодом, он искал в придуманных им историях какую-то причину для страха и не находил, хотя сами по себе они были страшные. Ему почему-то вспомнилась женщина, желавшая наняться в прачки. Может быть, и ее терзал такой же вот беспричинный страх?

Пять минут спустя он снова двинулся через двор, в десятый раз за день. Парень не поднимал глаз. Взгляд Горжика прилип к его тощей шее ниже уха и торчащих черных волос, где раньше был ошейник. При луне ему по-прежнему мерещилась железная полоса на грязной коричневой коже, где вена пересекала шейное сухожилие.

Нет. Ошейника больше не было.

Но он, даже отсутствующий, повергал Горжика в такую растерянность, что ему трудно было не шарахнуться в сторону, как тот стражник от купцовых монет. Кровь стучала в ушах, язык напрочь отнялся. Он ушел в переулок, не помня даже, как прошел мимо парня, так и не поднявшего, в чем он был убежден, глаз.

На восходе солнца Горжик вернулся туда, но исполосованного кнутом парня на месте не оказалось.

Он долго бродил там, то заглядывая в почти пустой колодец (и ничего не различая в его темном нутре), то заходя в переулки, где косые лучи отражались от западных стен – бродил, снедаемый тоской по чему-то неузнанному, в поисках чего-то теплого и вещественного, упущенного им из-за собственной нерешительности.

Потом вернулся домой, где под дощатым крыльцом плескалась морская вода.

В Колхари хватало авантюристов всякого рода, и они, как правило, охотно рассказывали о своих похождениях. И просмоленный матрос, таскавший мешки с зерном на пристани, и дебелая молодая торговка со Шпоры, и еще многие. Истории о похоти, верности, любви, власти сплетались в памяти Горжика с теми, которые он так и не услышал, поэтому через неделю или месяц он уже сам не знал, приснились они ему или случились на самом деле. Но отрочество в большом городе, вопреки всем грезам и выдумкам, все же преподавало Горжику урок, общий для всех цивилизаций.

Горжик усвоил, что мир огромен, но по нему можно путешествовать; что людские пути бесконечно разнообразны, но человек с человеком договорится всегда.

За пять недель до его шестнадцатилетия к власти, вполне законно, пришла малютка-императрица Инельго. В тот жаркий день месяца Крысы солдаты кричали на всех углях, что

город теперь и официально называется Колхари – как с незапамятных времен его называли каждая нищенка, каждая прислужница из таверны и каждый юнга. (Двадцать лет назад последние драконорожденные властители Орлиного Двора безуспешно переименовали город в Невериону.) Ночью нескольких богатых коммерсантов убили, разграбили их дома, перебили их служащих, в том числе и Горжикова отца. Семьи убитых отдали в рабство.

Под рыдания матери, перешедшие в крик и внезапно затихшие, Горжика нагишом вытащили на улицу. Следующие пять лет он провел на обсидиановом руднике у подножья Фальтовых гор.

Он вырос большим, сильным, ширококостным, дружелюбным и умным. Эти два качества – дружелюбие и ум – в свое время уберегли его от смерти и от ареста. Теперь его, благодаря им и умению кое-как записывать имена и количества добытого камня, назначили десятником; это значило, что он, лишь немного подворовывая, получал сколько надо еды – и потому, в отличие от других рудокопов, тощих и жилистых, стал плотным и мускулистым. К двадцати одному году он превратился в здоровенную гориллу с глазами, постоянно красными от рудничной пыли, и шрамом от кирки на скуле, полученным во время драки в казарме. Ручищи у него были огромные, подошвы как дубленая кожа, и выглядел он всего лет на пятнадцать старше своего настоящего возраста.

2

Караван визирини Миргот, возвращаясь из прославленной горной твердыни Элламона к Орлиному Двору в Колхари, разбил лагерь в полумиле от рудника, под сосновыми склонами Фальт. В юности Миргот называли пикантной, теперь она слыла средоточием хитрости и порока.

Была весна, и визириня скучала.

Она потому и вызвалась совершить поход в горы, что придворная жизнь в мирное царствование малютки-императрицы тоже стала невыносимо скучна. Однако в чертогах Элламона после обязательного дня у драконьих загонов, где солнце било в глаза и парили в вышине крылатые чудища, о которых сложено столько сказок, она, очутившись в среде горных вельмож и купцов, нашла провинциальную скуку еще тягостнее столичной.

Миссию свою, однако, она завершила успешно.

Вечерело. Миргот стояла у входа в шатер и смотрела на черные Фальты, пронзающие вершинами облака. Не покажется ли дракон на закатном небе? Нет; все сказки уже сложены, и драконы стараются не улетать далеко от своих родных скал. Проводив взглядом стайку женщин в красных платках, Миргот позвала:

– Яхор!

К ней тут же подскочил носатый евнух в тюрбане из синей шерсти и таких же штанах.

– Я отпустила служанок на ночь. Тут недалеко рудники... – Визириня, известная как высокомерием, так и неприхотливостью, положила руку на грудь и сжала костлявый локоть. – Ступай туда и приведи мне самого несчастного, грязного раба из самой черной и грязной ямы. Хочу утолить свою страсть самым что ни на есть низким образом. – Розовый кончик ее языка прошелся по сжатым губам. Евнух приложил кулак ко лбу, поклонился, попятился на три положенных шага и ушел.

Час спустя Миргот выглянула через прореху в шатре. Паренек, приведенный Яхором, подставил лицо мелкому дождику, открывая и закрывая рот, точно вспоминал забытое слово. Четырнадцатилетнего раба звали Нойед. Три месяца назад он потерял глаз, и рана зажила плохо. Его трепала лихорадка, десны у него кровоточили, грязь покрывала его тело как чешуя. На руднике он провел всего месяц, и ясно было, что другой он вряд ли протянет. Усмотрев

в этом оправдание, семеро мужчин пару ночей назад жестоко надругались над ним, и теперь он к тому же хромотал.

Яхор, оставив его под дождем, вошел в шатер.

– Госпожа...

– Я передумала. – Миргот, хмуро глядя из-под крашенных черных косичек, уложенных на лбу кольцами, взяла с низенькой табуретки медный кувшинчик и подлила масла в висающую на цепях лампу. Огонь ярко вспыхнул. – Приведи другого, ты ведь знаешь, что мне нравится. Вкусы у нас, я бы сказала, схожие.

Яхор снова приложил кулак ко лбу, склонил голову в синем тюрбане и вышел.

Он уже знал, кем заменить Нойеда. Когда он в первый раз постучался в дверь караульной, сонный страж повел его между глинобитных бараков туда, где спали десятники. Здоровенный раб спросонья обругал евнуха, но тут же и засмеялся, услышав о визирине. Проводил Яхора в другой, еще более смрадный барак, вывел ему Нойеда – все это вполне добродушно. Покоренная физиономия десятника напоминала свиное рыло, немытые волосы слиплись, но он был силен как бык и достаточно грязен, чтобы удовлетворить какое угодно извращенное желание.

Стражник второй раз за ночь отпер дощатую дверь барака и вошел внутрь вместе с Яхором, светя плюющим смолой факелом. Дым поднимался к стропилам, тараканы разбегались от света и сыпались сверху. Яхор, ступая по склизкому земляному полу, подошел к первому с краю рабу, спящему на соломе, и откинул истрепанную холстину, которой тот укрывался.

Раб заслонился рукой и пробурчал:

– Опять ты?

– Идем со мной, – сказал Яхор. – Теперь она хочет тебя.

Раб, щуря красные глаза, сел, потер заскорузлыми пальцами толстенную шею.

– Хочет, чтоб я?... – Он нашарил в соломе разомкнутый ошейник, защелкнул его на шее, потряс головой, высвободил застрявшие волосы. Встав во весь рост, он показался евнуху вдвое больше, чем был на деле. – Чтоб обратно впустили, – пояснил он, поддев ошейник пальцем. – Ну, пойдем, что ли.

Так Горжик провел ночь с сорокапятилетней Миргот – довольно романтической особой в тех узких рамках, которые она отводила для личной жизни. Самые страстные и самые извращенные любовные игры редко занимают больше двадцати минут в час, и, поскольку главной проблемой Миргот была скука (а похоть служила лишь эмблемой ее), рудничный раб под утро вступил в разговор с визириней. На руднике развлечений нет, кроме тех же разговоров, и понааторевший в них Горжик потчевал Миргот разными занимательными историями – как своими, так и чужими, как правдивыми, так и вымышленными. Горжик развернулся вовсю – он понимал, что утром его отправят назад, и терять ему было нечего. Пять его злых шуток визириня нашла смешными, три замечания о человеческом сердце – глубокими. В целом он вел себя почтительно и предельно открыто, давая понять, что надеяться ему в его положении не на что. Он уже предвкушал, как будет рассказывать об этой ночи за миской приправленной свиным жиром каши – хотя сначала придется отработать десять часов, не выспавшись, и ничего больше он на этом не выиграет. Он лежал на потном шелке, пачкая его своим телом, смотрел, как раскачиваются в полосатом шатре давно погасшие лампы, слушал суждения визирини о том о сем, порой задремывал и надеялся лишь, что ему не придется за все это расплачиваться.

Когда щели между полотнищами шатра озарились, Миргот села. Прошуршав шелком и мехами, всю ночь украшавшими любовные труды Горжика, она кликнула евнуха, а рабу приказала выйти.

Он стоял, голый и усталый, на влажной, вытопанной караванщиками траве. Стоял и глядел на шатры, на черные горы за ними, на небо, уже желтеющее над верхушками сосен. Он мог бы сбежать сейчас, но очень устал, и его наверняка бы поймали еще до вечера.

Миргот между тем сидела раскачиваясь, натянув шелковое покрывало до подбородка, и размышляла вслух.

– Знаешь, Яхор, – говорила она тихо (живя в замке, где тебя окружает столько людей, поневоле приучаешься тихо говорить по утрам), – на руднике этому мужчине не место. Я говорю «мужчина», и выглядит он как зрелый муж, но на самом деле он совсем еще мальчик. Он, конечно, не гений, ничего похожего, но неплохо говорит на двух языках и на одном даже немного читает. Глупо держать такого в обсидиановых копиях. И знаешь... я у него первая и единственная!

Горжик, прикрыв глаза, все так же стоял и думал, что мог бы сбежать.

– Идем, – сказал ему евнух.

– Назад? На рудник? – фыкнул Горжик.

– Нет, – молвил Яхор таким тоном, что раб насторожился. – Ко мне в шатер.

Все утро Горжик провалялся в евнуховой постели – не столь роскошной, как у визирини, но довольно богатой, а столиков, стульчиков, шкафчиков, сундуков, фигурок из бронзы и глины у евнуха было куда больше, чем у Миргот. Между провалами раба в сон Яхор находил его добродушным, ворчливым, ровно настолько любезным, сколько можно ожидать ранним утром от усталого рудокопа, – и подтверждал мнение визирини, что делал далеко не первые. Через некоторое время он встал, намотал тюрбан, извинился – без всякой надобности, поскольку Горжик тут же уснул, – и вернулся к Миргот.

Горжик так и не узнал, о чем они там говорили, – но кое-что в их беседе могло удивить его и даже глубоко потрясти. В молодости визириня сама ненадолго попала в рабство и принуждена была оказывать унижительные услуги одному провинциальному вельможе, до того похожему на ее теперешнего повара, что на кухню она старалась не заходить. Рабыней она пробыла всего три недели: пришла армия, огненные стрелы полетели в узкие окна дворца, и плохо выбритая голова вельможи долго перелетала с копья на копье. Освободившие ее солдаты были невероятно грязны и покрыты татуировками, а после того, что они сотворили при всех с двумя женщинами из дома вельможи, она сочла их буйными сумасшедшими. Но их начальник был союзником ее дяди, которому ее и вернули в относительной целостности. Этот краткий опыт внушил Миргот стойкое отвращение как к институту рабства, так и к институту войны – последнюю могла оправдать лишь отмена первого. Аристократы, смещенные драконами двадцать лет назад и лишь недавно вернувшие себе власть, нередко подвергались такой же участи, но взгляды Миргот разделяли не все. Нынешнее правительство, не будучи открытым противником рабства, не было и рьяным его сторонником, а малютка-императрица постановила, что при дворе у нее не будет рабов.

Солнце пробудило Горжика от сна, где его мучили голод и боль в паху, а одноглазый парнишка, весь в парше, пытался сказать ему нечто очень важное. Шатер, где он спал, убирали, голова в синем тюрбане загородила свет.

– А, проснулся... тогда пойдем.

Пока погонщики волов, секретари в желтых тюрбанах, служанки в красных платках и носильщики укладывались, выносили сундуки и разбирали шатер, визириня объявила Горжику, что забирает его с собой в Колхари. У рудника его выкупили, днем ошейник можно не надевать. Заговаривать с ней запрещается – пусть ждет, когда она сама к нему обратится. Если она решит, что ошиблась, его жизнь будет намного хуже, чем в руднике. Горжик сначала просто не понял ее, потом, в приступе изумления, начал бормотать слова благодарности, потом снова разуверился во всем и умолк. (Миргот подумала, что он по природной своей чуткости знает, когда надо остановиться, и убедилась в правильности своего выбора.) Перевязанные лентами шкатулки и хитрые стеклянные приборы унесли прочь, шатер разобрали, и женщина в зеленой сорочке, сидящая за столом под открытым небом, вдруг как-то уменьшилась в глазах Горжика. Ее тонкие косички показались ему фальшивыми, хотя он знал, что они насто-

ящие, рубашку как будто сшили на женщину поплнее. На солнце стали видны и морщинки под глазами, и слегка обвисшая шея, и вены на руках – у него они вздулись от работы, у нее от возраста. Должно быть, и он при свете дня кажется ей другим?

Яхор взял его за руку и увел.

Горжик быстро смекнул, что в его новом ненадежном положении лучше помалкивать. Главный караванщик поставил его ухаживать за волами, и ему это нравилось. Ночь он провел в шатре визирини и всего с полдюжины раз просыпался, увидев во сне одноглазого мальчика. Нойед, скорее всего, уже умер, как умирали на глазах Горжика десятки рабов за годы, уже потихоньку пропадающие из памяти.

Удостоверившись, что днем Горжик ведет себя скромно, Миргот принялась дарить ему одежду, драгоценности, безделушки. Сама она украшения в путешествии не носила, но возила с собой целые сундуки. Яхор, в чьем шатре Горжик иногда бывал утром или в знойные часы дня, уведомлял его о настроениях визирини. Иногда ему надлежало являться к ней пропахшим волами, в рабских отрепьях и ошейнике, иногда – мытым и бритым, в дареных одеждах. Яхор, что еще важнее, сообщал также, когда следует заняться любовью, а когда просто рассказывать что-нибудь или слушать ее. Горжик скоро усвоил то, без чего никакой путь наверх невозможен: если хочешь добиться благоволения сильных, будь в дружбе с их слугами.

Однажды утром по каравану прошел слухок: «К полудню будем в Колхари!»

Серебристая нитка, выющаяся рядом с дорогой через поля и кипарисы, превратилась в полноводную реку с заросшими тростником берегами. «Кхора», – сказал погонщик, и Горжик вздрогнул. Большую Кхору и Кхорину Шпору он знал как замусоренные городские каналы, впадающие в гавань из-под мостов в верхнем конце Новой Мостовой. Ему говорили, что в узких тамошних переулках, также называемых Шпорой, ютятся воры, убийцы и те, что еще хуже их.

Вдоль этой Кхоры стояли величественные дома в три этажа, с оградами и воротами. Что это за место? Как видно, все-таки Колхари – верней, его пригород. Невериона, как еще недавно назывался весь город и где живут старейшие, богатейшие семьи аристократов. Где-то тут должно быть и другое предместье, Саллезе, место обитания богатых купцов: наделы у них поменьше и от реки далеко, зато дома будут пороскошней вельможных. Услышав это от служанки в красном платке – она часто подбирала юбки и заигрывала с погонщиками, отпуская крайне непристойные шутки, – Горжик вдруг вспомнил, как играл у окруженного статуями бассейна в саду отцова хозяина, когда отец его брал с собой. Вспомнил и понял, что знать не знает, как попасть отсюда в *свой* припортовый Колхари. Как только он сообразил, что надо, видимо, просто идти вдоль Кхоры, караван отклонился от реки.

В разговорах между караванщиком, погонщиками, старшиной носильщиков и старшей служанкой то и дело слышалось «Двор... Высокий Двор... Орлиный Двор». Один погонщик, чья повозка съехала колесом в телегу, вытаскивал ее и поносил своего вола: «Клянусь доброй владычицей нашей, малюткой-императрицей, я те шею сверну, скотина блохастая! Застрел перед самым домом!»

Час спустя на новой дороге среди кипарисовых рощ Горжик уже не знал, где осталась Кхора – справа или слева от них.

Скоро они уперлись в стену с караульными будками по бокам от ворот, над которыми распростер крылья в ширину человеческого роста сильно облупленный орел. Стражники сняли с ворот массивные засовы, и повозки начали въезжать в замок.

Выходит, то большое здание у озера и есть Высокий Двор?

Нет, это просто одна из служб; ему показывали куда-то ввысь, выше деревьев, и там...

Он не замечал этого как раз из-за его огромности, а когда заметил, то сначала подумал, что это природный массив вроде Фальт. Ну да, видно, что это обработанный камень, но

столько строений, одно на другом – скорее город, чем отдельное здание, и все-таки единое целое, несмотря на все этажи, выступы и контрфорсы. Неужели все это кто-то построил?

Хоть бы караван остановился, он тогда бы всё рассмотрел. Но караван шел дальше, дорогу теперь устилала хвоя, и сосны простирали наполовину голые ветки к башням, к облакам, к небу. Новая стена, вставшая впереди, грозила обрушиться прямо на Горжика...

Яхор позвал его и сделал знак следовать за отделившимися от каравана женщинами во главе с визириней. Горжику пришлось пригнуться под низкой притолокой.

Они шли по коридору мимо солдат, стоявших каждый в своей нише. «Наконец-то дома, – слышалось Горжику. – Какая утомительная поездка... родной Колхари... когда возвращаешься ко Двору... только в Колхари...» Он понял, что все это время думал вернуться в родительский дом и не знал, где очутился теперь.

Пять месяцев он провел при Высоком Дворе малютки-императрицы Инельго. Визириня отвела ему каморку с низким потолком и окном-щелью за своими собственными покоями. Из пола и стен выпирали камни, раствор между ними выкрошился, точно на них давило что-то со всех сторон – сверху, снизу и сбоку. К концу первого месяца визириня и ее управитель потеряли к Горжику интерес, но раньше она несколько раз представляла его гостям, числом от семи до четырнадцати, в своей трапезной. Под потолками ее чертогов пролегали стропила, на стенах висели гобелены; в одних большие окна выходили на крыши замка, в других, без окон, светило множество ламп и были проделаны вытяжки для освежения воздуха. Несколько друзей визирини нашли Горжика интересным, а трое даже и подружились с ним. На одном из ужинов он говорил слишком много, на двух вовсе молчал, за шесть остальных освоился. Рабы на руднике тоже едят в кружке человек из семи-четырнадцати, и говорят они, сидя на камнях и на бревнах, примерно о том же, что сидящие на мягких стульях придворные. Не знал он только правил здешнего этикета – но правилам можно выучиться, и он выучился.

Он сразу же понял, что в тонкости с аристократами тягаться не может: он только обидит их или, хуже того, им наскучит. Их интересовало как раз то, чем он от них отличался. К чести своей (или к чести визирини, мудро выбиравшей гостей), они из любви к хозяйке многое прощали ему, что он осознал много позже; прощали, когда он выпивал лишнего, когда чересчур вольно выражался по поводу кого-нибудь из отсутствующих, когда впадал в раж и заявлял, что они несут чушь, что он для них лишь забава, – показал бы он, дескать, им, если б они зависели от него, а не он от них. Их изысканные, сладкозвучные речи текли как ни в чем не бывало между взрывами смеха, вызванными его неучтивостью (она прощалась ему, но не всегда забывалась), и разговоры плавно переходили от скандальных к скабрёзным; когда Горжик их слушал, челюсть у него норовила отвиснуть сама собой, но он ей не позволял. Сам он, вставляя словечки, от которых аристократические брови вздымались дугой, повествовал исключительно о борьбе за мелкие привилегии, мнимое достоинство и воображаемые права между рабами, ворами, нищими, уличными девками, матросами, трактирщиками и снова рабами – людьми, не владеющими ничем, кроме своей глотки, ног, кулаков; это сходило ему с рук только благодаря таланту рассказчика и тому, что вечно скучающие придворные всегда приветствуют нечто новое.

Шпильки по поводу его отношений с Миргот он оставлял без внимания. Визириня работала так, как могут работать только люди искусства и государственные умы; со временем они не считаются, и верные решения редко предстают перед ними в простых словах (в отличие от неверных). Сопровождения и аудиенции занимали весь ее день, вечером она то и дело ужинала с посланцами, губернаторами, просителями. В первый месяц при дворе ее раб насчитал целых двадцать две трапезы, в которых он не участвовал.

Если бы последние пять лет он провел, скажем, как свободный подмастерье богатого гончара, у него могло бы сложиться представление об аристократах как о праздном, избалован-

ном сословии; он и сейчас видел тому немало примеров, но благоразумно не поминал о них вслух. Даже и теперь, понюхав каторги, которая, несмотря на звание десятника, определенно убила бы его лет через десять-двадцать, он был слишком ослеплен неожиданной свободой, чтобы вникать в труды кого-то другого. Проходя мимо открытой двери кабинета Миргот, он видел ее за письменным столом, склоненной над картой, с парой компасов в одной руке и линейкой в другой (что всякий смысленный подмастерье счел бы работой). Идя обратно, он видел ее у скошенного окна, следящей за проплывающим облаком (тот же подмастерье решил бы, что она отдыхает и к ней можно зайти; поэтому Горжик как ее любовник не понимал, почему она решительно запрещает такого рода вторжения). Оба эти состояния были так ему чужды, что он не делал между ними различия и не видел в них ничего противоречивого. Запрету визирини он подчинялся скорее из эстетических, чем из практических соображений. Оставаясь рабом, он знал свое место; гончарный подмастерье отнесся бы к этому с открытым презрением – и напрасно. В высшем обществе ни он, ни Горжик вообще не имели места ... если понимать слово «иметь» не в том мифически-мистическом смысле, где раб имеет хозяина, а народ – кое-какие права, а в смысле захвата, будь то добром или силой, если не завидного, то хотя бы заметного положения. Решись Горжик нарушить запрет, из каприза или по веской причине, он вошел бы к визирине в любой момент, что его аристократические сотрапезники поняли бы намного лучше, чем прикидки и различия гончарного подмастерья. Подмастерье угодил бы в темницу или был бы казнен: времена стояли жестокие, и визириня часто прибегала к жестоким мерам. Горжика наверняка постигла бы та же участь, но сочувствовали бы ему куда больше. Особой разницы между ними, выходит, нет, но мы здесь пытаемся очертить границы отношения Горжика к существующему порядку вещей. Выживший сначала в портовом городе, потом в руднике, он стремился выжить и при Высоком Дворе. Это значило, что ему нужно многому научиться.

Связанный приказом не подходить к визирине и ждать, когда она сама его позовет, он первым делом усвоил, что здесь все поголовно находятся в таком же положении относительно хотя бы одного человека, а чаще целой группы людей. Так, барон Ванар (он разделял вкусы Яхора и подарил Горжику несколько простых камней с дорогими вкраплениями, пылившихся теперь по углам в камерке) и барон Иниге (у него вкусы были другие, но он как-то взял Горжика поохотиться в королевском заповеднике и всю дорогу распространялся о неверионских растениях; от него Горжик узнал, что ини, памятный ему по отроческим годам, – смертельный яд) нигде не бывали вместе, хотя приглашали всюду обоих. Тана Саллезе могли пригласить куда-то вместе с бароном Экорисом, если только там не присутствовала графиня Эзулла (в таких случаях мог не приходить и Кудрявый, как прозвали барона Иниге). Ни один друг барона Альдамира (он не показывался при дворе много лет, но все вспоминали о нем с теплым чувством) не садился рядом даже с самыми дальними родственниками баронессы Жье-Форси или напротив них. Ну и еще с полдюжины мелочей – о них охотно рассказывала пожилая принцесса Грутн, закинув руку на подушку с бахромой и перекатывая в ладони орешки униженным колыцами большим пальцем.

«И вовсе это не мелочи», – смеялся Кудрявый, подавшись вперед и сжимая руки в таком волнении, будто новую поганку открыл.

«Да нет же, мелочи», – настаивала принцесса, высыпая орехи на серебряный поднос и заглядывая с недовольной миной в чеканный кубок. Ей только за последний месяц несколько раз говорили, что барон, к сожалению, перестал понимать, *до чего* это мелко.

– Порой я думаю, что главный знак власти нашей очаровательной царственной кузины есть то, что всякая вражда, и крупная и мелкая, забывается там, где изволит бывать она!

Горжик, сидя на полу, ковырял в зубах серебряным ножичком корочку своего мизинца и слушал – не с жадностью авантюриста, мечтающего втереться в высшие слои, а с внимательно-

стью эстета, впервые слышащего стихи, которые по его опыту с прежними творениями поэта будет не так-то просто понять.

Наш гончарный подмастерье пришел бы к визирине на ужин с готовыми понятиями о пирамиде власти и, несомненно, попытался бы провести по ней прямую линию снизу доверху: такая-то герцогиня выше такого-то тана, но ниже кого-то еще – узелок за узелком, пока наверху не останется кто-то один, предположительно малютка-императрица Инельго. Горжик, пришедший в пиршественный чертог без всяких понятий, скоро узнал – благодаря вечерам с визириней, утренним прогулкам с бароном, дневным собраниям в Старом Чертоге, устраиваемым молодыми графами Жью-Грутн (не путать с двумя старшими графами, из коих один, борода-тый, слыл не то безумцем, не то колдуном, не то тем и другим) и просто из того, что подглядел и подслушал в Большой Анфиладе, составляющей стержень замка, – что дворцовая иерархия представляет собой разветвленное дерево; что ее ветви переплетаются; что в некоторых местах эти переплетения образуют необъяснимые замкнутые петли; что присутствие такого-то графа и такого-то тана (не говоря уж об управителях или горничных) может переместить куда-то целое иерархическое звено.

Яхор, особенно в первые недели, часто прохаживался с Горжиком по замку, об архитектуре которого знал очень много. Громадное здание все еще приводило в трепет бывшего рудокопа. Древнейшие строения вроде Старого Чертога представляли собой огромные пространства без крыш, с вделанными в пол водостоками. Их окружали дюжины темных каморок в несколько уровней – с каменными ступеньками, приставными лестницами или просто с кучей земли у стены. Яхор объяснял, что когда-то в этих клетушках, меньше даже, чем комната Горжика, жили великие короли, королевы, придворные. Потом в них иногда размещались армейские офицеры, а в последнее время простые солдаты. Та заваленная камнем дверца наверху, до которой вовсе никак не добраться? Там замуrowали безумную королеву Олин после того, как на пиру в этом самом чертоге она подала двух своих сыновей-близнецов в поджаренном и засоленном виде. На середине пира над замком разразилась гроза; дождь и молнии хлестали в чертог с открытого неба, но Олин запретила гостям вставать из-за стола, пока пир не закончен. Непонятно, заметил евнух, за что они обошлись с ней так круто: за ужин или за то, что промокли. («Олин, – подумал Горжик. – Та самая пророчица из детских стишков?») Но Яхор уже шел дальше.) Теперь все эти гулкие древние колодцы, кроме Старого Чертога, которым все еще пользовались, были заброшены, а в каморках хранили разве что всякий хлам, пыльный и ржавый. Пятнадцать или пятьдесят лет назад один умнейший мастер – тот самый, что замостил Новую Мостовую, сказал Яхор, вновь оживив приустановшее внимание Горжика, – придумал проложить в замке коридоры (и поставить пресс для чеканки монет). С тех пор отстроили добрую половину замка (и отчеканили почти все неверионские деньги); все парадные залы, кладовые, кухни и жилые покои расположены вдоль коридоров. Всего в замке шесть многоэтажных строений. Покои визирини находятся на третьем этаже одного из наиболее поздних, а государственные учреждения расположены на втором и третьем одного из старейших, вокруг тронного зала. Все остальное построено в нелепом анфиладном стиле, когда одни комнаты – с двух, трех, четырех сторон, порой даже сверху или снизу – соединяются с другими. Нескончаемые вереницы комнат, больших и маленьких, пустых и пышно обставленных, часто безоконных и невероятно затхлых; иногда между людными, светлыми помещениями пролегают столь темные, что без факела туда не войдешь. Огромный, запутанный человеческий улей.

Может ли Яхор пройти через весь замок, не заблудившись?

Весь замок не знает никто. Яхор, к примеру, ни разу даже близко не подходил к покоям императрицы или к тронному залу. Устройство того крыла он знает лишь понаслышке.

А малютка-императрица хорошо знает замок?

Малютка-императрица уж точно нет, ответил Яхор. Горшечный подмастерье усмотрел бы в этом иронию, но для бывшего рудничного раба это стало лишь одним странным фактом из многих.

После этого разговора Горжик стал видаться с Яхором куда реже.

У аристократических друзей Горжика была одна огорчительная привычка: сегодня они держались с ним вполне дружески и даже поверяли ему секреты, а завтра, идя с кем-то другим, незнакомым, могли пройти мимо, не узнавая его, – хотя он и улыбался, и рукой им махал, и пытался заговорить. Столь пренебрежительное поведение могло бы довести гончарного подмастерья до вспышки гнева, неделикатного замечания или полного отречения от этой надменной публики. Горжик, однако, понимал, что его низкое звание тут ни при чем, – они и друг с другом обходятся точно так же. Придворный этикет не менее сложен, чем тот, который Горжику – даже будучи десятником – приходилось соблюдать, переходя в новый рабский барак. (Бедный горшечник! Имея простецкие понятия об аристократии, он имел бы точно такие же о жизни рабов.) Горжик хорошо понимал, что причина сложных отношений между рабами заложена в самом рабстве – но эти утонченные дамы и кавалеры? Что их-то поработщает? На это горшечник как раз мог бы ему ответить: власть, одержимость властью, ничего более – но невежество Горжика тем и объяснялось, что он к ним был куда ближе своего ровесника-гончара. То, что окружает тебя, управляя каждым словом и каждым поступком, разглядеть нелегко; птица не знает, что такое воздух, служащий ей опорой, рыба – что такое вода. Значительная – пугающе большая – часть этих самых кавалеров и дам столь же плохо представляла себе, что управляет их решениями, взглядами и привычками, как и Горжик – в то время как подмастерье, которым Горжик мог бы стать, помнил, что разыгралось в этих чертогах пять лет назад, и прекрасно всё понимал.

При всей своей близости к некоторым знатым особам Горжик не питал иллюзий на тот предмет, что эти особы или их слуги видят в нем равного себе. Не следует заблуждаться и нам. Но с ним разговаривали, его общества искали и мужчины, и женщины, привлеченные тем же, что привлекло визириню. Ему дарили подарки. Обитатели покоев, в которых он никогда не бывал, заходили в каморку к неотесанному юнцу посмотреть, сыт ли он, не слишком ли ему одиноко. (Такого не случилось ни разу, когда он по-настоящему в них нуждался.) Горжик, у которого не было ничего, кроме его истории, начинал понимать, что именно эта история, отличающая его от других, в некотором смысле заменяет благородное происхождение. К нему не приставали с расспросами, ему прощали маленькие промахи и чудачества – чего еще может один аристократ требовать от другого?

Однажды он провел пять дней без еды. Когда его не приглашали на обед или ужин к какому-нибудь принцу или графине, он шел на кухню визирини, где ему, согласно распоряжению Яхора, давали поесть. Но визириня почти со всей своей челядью снова куда-то уехала, и кухня закрылась. Вечером маленькая принцесса Элина, взяв его большие руки в свои крошечные, воскликнула:

– Знаешь, мне пришлось отменить легкий ужин, на который я звала тебя завтра. Ужасно! Нужно навестить дядю-графа, откладывать больше нельзя... – Тут она отвела одну ручонку и прижала ее ко рту. – Хотя нет. Я бессовестно лгу – ты и сам, думаю, знаешь. Я еду в свой собственный старый замок, который терпеть не могу! Ага, ты знал, просто смолчал из вежливости. – Горжик, ни о чем таком не ведавший, засмеялся. – Потому мне и пришлось отменить мою вечеринку. На то есть причины... ты понимаешь, да? – Горжик, слегка хмельной, засмеялся снова, остановил жестом дальнейшие откровения и вышел.

Назавтра его больше никуда не позвали, и он ничего не ел. На следующий день тоже. Он попытался отыскать Кудрявого и уяснил, что далеко не всюду осмеливается ходить. Говорят, первые два дня поста – самые трудные, хотя Горжик не собирался поститься. Он не побрезговал бы и милостыней, но у кого ее попросить? Украсть что-нибудь? Есть ведь другие покои,

другие кухни. Вот уж и третий день прошел; на четвертый голова у Горжика немного кружилась, но аппетит пропал. Так что, идти воровать? Он сидел на койке, зажав мозолистые руки между колен. Сколько раз эти дамы и господа восхваляли его прямооту, его честность? У него нет ничего, кроме его истории, в которую теперь их мнения тоже входят. И в гавани, и на руднике месяца не проходило, чтобы он чего-нибудь не стянул, начиная с шестилетнего возраста, но здесь ни разу не воровал, нутром чувствуя, что это может стоить ему новой части истории, которая слишком много для него значила: здесь он обретал настоящие знания (вместо легких суждений нашего подмастерья – а тот, стянувший разве что пару чашек из хозяйской кладовой, теперь непременно бы стал воровать).

Сколько нужно времени, чтобы умереть с голоду? Этого Горжик не знал, но видел, как истощенных людей, работавших по четырнадцать часов в сутки, сажали на три дня под замок и не давали им есть – а через неделю после освобождения они умирали. (Он сам в свои первые полгода подвергся такому же заключению и выжил.) Ему не приходило в голову, что хорошо питающийся бездельник (он сам уже долго бездельничал) способен голодать больше месяца, лишь бы воды было вдоволь. На пятый день ему совсем не хотелось есть, но голова кружилась, и он боялся, что это начало конца.

В сандалиях с медными пряжками и красной тунике до середины бедра (к ней полагался нарядный ворот, но он поленился его надеть, и длинный алый кушак с золотом и кистями, но он подпоясался старым рудничным ремнем) Горжик брел по замку вечером пятого дня. На этот раз, возможно из-за головокружения, он свернул туда, где ни разу не ходил раньше, очутился у винтовой лестницы и, сам не зная почему, пошел по ней вверх, а не вниз. После двух витков лестница привела его в крытую колоннаду; оттуда он видел другие галереи и зубчатые стены, посеребренные луной, хотя самой луны видно не было. Спускаясь по другой лестнице в конце колоннады, он заметил внизу мерцающий свет, а то, что он принял за шум в ушах, обернулось далекими голосами и музыкой. Горжик понадеялся, что сможет затеряться в этом многолюдном собрании, и двинулся дальше, придерживаясь за стену.

В сенях горела бронзовая лампа, но темные гобелены на стенах поглощали свет. Часовой в арке смотрел не на Горжика, а на общество, заполнившее чертог. Горжик помедлил и беспрепятственно прошел мимо него.

Сколько же тут, человек сто? Горжик различал в толпе Кудрявого и графиню Эзуллу; принцесса Грутн беседовала с пожилым графом Жью-Грутном, и барон Ванар тоже был здесь! На длинном, во всю стену, столе стояли графины с вином, корзины с фруктами, блюда с олеиной в желе, лежали хлебные караваи и круги сыра. Горжик знал, что заболит, если наестся досыта, что даже после скромной трапезы извергнет из себя пятдневную желчь; прожив последние пять лет чуть не впроголодь, он знал о голоде всё, что нужно для выживания. Медленно обходя зал, он на каждом круге брал со стола какой-нибудь плод или кусочек хлеба. На седьмой раз его обуяла жажда, и он налил себе вина. Первые же три глотка ударили ему в голову, как бурный, бьющийся о камни поток. Что, если его стошнит? Дудочки и барабаники – почти голые, но в золотоперых тюрбанах – блуждали в толпе, как-то умудряясь барабанить и дудеть в такт. Когда он с кубком в руке, ощущая живот как туго набитый мешок, совершал свой девятый круг, тоненькая девушка с широким смуглым лицом, в закрытом белом хитоне до пят сказала ему:

– Вы неподобающе одеты, мой господин.

Ее жесткие волосы были так туго заплетены во множество тонких кос, что просвечивала кожа на голове.

Горжик, понаторевший в разговорах с аристократами, улыбнулся и слегка склонил голову.

– Я не совсем гость – верней, гость незванный и очень голодный. – Желудок у него свело и медленно отпустило, но улыбку он удержал.

Проймы ее хитона окаймляли мелкие бриллианты, тонкую серебряную нить на лбу украшали яркие самоцветы.

– Вы фаворит визирини, верно? Тот, с рудников. Любимец Альдамирова круга.

– С бароном Альдамиром я незнаком, но все, кого я здесь знаю, говорят о нем с уважением.

Девушка, опешив на миг, засмеялась – звонко, по-детски, с истеричными нотками, которых Горжик в деланном смехе придворных ни разу не слыхивал.

– Императрица Инельго определенно не отвергла бы вас из-за того, что вы бедно одеты, но с ней все же следует держаться немного почтительнее.

– Справедливая и великодушная владычица наша, – произнес Горжик – при упоминании об императрице так говорили все. – Столь утонченной даме, как вы, это покажется странным, но последние пять дней я ничего...

Кто-то тронул его за локоть – Кудрявый.

– Вам уже представили Горжика, ваше величество? Перед тобою малютка-императрица Инельго, Горжик.

Горжик впопыхах приложил кулак ко лбу.

– Ваше величество, я не знал...

– Мы уже познакомились, Кудрявый... Впрочем, мне не следует так вас называть при нем, верно?

– Называйте как хотите, ваше величество. Он ко мне тоже так обращается.

– Вот как. О Горжике я, конечно, уже наслышана. Полагаю, как и ты обо мне? – Ее большие глаза, карие под цвет кожи, как у многих неверионских аристократов, смотрели прямо на него. Она снова засмеялась и бросила: – Ну же, Кудрявый!

Барон сделал тот же почтительный жест и удалился. Испуганный Горжик чуть-чуть отступил назад под пристальным взглядом императрицы.

– Знаешь ли ты самое красивое и самое печальное место Неверионской империи, Горжик? – спросила она. – Это провинция Гарт, особенно леса вокруг Вигернангхского монастыря. Меня там держали ребенком, пока я не стала императрицей. Говорят, что в руинах, на которых построили монастырь, живут старые боги, намного древнее самой обители. – Инельго заговорила о религии; отвечать на это не требовалось как потому, что Горжик не разбирался в теологических тонкостях, так и потому, что религия, или метафизика, определенной культуры бывает разной для рабов и господ; как ни пытались мы избежать сравнений с нашим собственным миром, необходимо сказать, что метафизика Невериона занимала в своей культуре не совсем такое место, как наша. (Мы никогда не бываем свободны от метафизики, даже когда полагаем, что критикуем чью-то еще.) Поэтому впредь нам лучше обходить эту тему молчанием.

– Гарт изобилует и прекрасен, – добавила императрица. – Я хотела бы посетить его снова, но наши безымянные боги мне в этом препятствуют. Притом этот клочок земли и сегодня доставляет нам больше хлопот, чем любой другой уголок империи.

– Я сохраню в памяти всё, что вы говорили, ваше величество, – ответил Горжик, не зная, что еще на это сказать.

– Хорошо, если так. – Императрица моргнула, посмотрела по сторонам, совсем не императорски закусила губу и направилась к выходу, мерцая серебряными нитями на белом хитоне.

– Очаровательна, не правда ли? – Кудрявый взял Горжика под руку и повел вон из зала.

– О да, очаровательна. – Горжик крепко усвоил, что отвечать на чьи-то реплики нужно всегда – а если не знаешь, что отвечать, можно повторить только что сказанное.

– Само очарование. Я еще не видел императрицу столь очаровательной, как сегодня. Никто при дворе не может сравниться с ней.

Горжик смекнул, что барон не больше его самого знает, что говорить. Но когда они добрались до двери, Кудрявый понизил голос и сказал, двигая кадыком под вышитым воротом:

– Императрица отнеслась к тебе милостиво. Ничего лучшего ты здесь не дождешься, поэтому задерживаться не следует. – И добавил еще тише прежнего: – Когда я скажу, посмотри налево, на господина в красном. Вот, сейчас!

Горжик посмотрел. Седой человек с коричневым костистым лицом, в красном плаще и бронзовом панцире отвернулся и возобновил беседу с двумя нарядными дамами.

– Знаешь, кто это?

Горжик потряс головой.

– Это Кродар. Не смотри больше. Нет нужды говорить, что Неверион – это его империя. Его солдаты возвели императрицу на трон и помогают ей на нем усидеть. Более того, они свергли прежних обитателей Орлиного Двора, о которых мы ни словом не поминаем. Правление малютки-императрицы – это правление Кродара. Когда императрица почтила тебя улыбкой и краткой беседой, Кродар нахмурился, что заметили все и каждый. – Барон вздохнул. – Теперь твое положение при дворе коренным образом изменилось.

– Но почему? Хорошо, я уйду, только... – Голова у Горжика кружилась по-прежнему, мысли путались. – Мне ведь от нее ничего не надо.

– В этом зале нет никого, кому не было бы хоть что-то нужно от императрицы, включая и меня. Поэтому тебе здесь никто не поверит, включая меня.

– Но...

– Ты приехал сюда как фаворит визирини. Все знают – или думают, что знают, – что Миргот интересуют только плотские удовольствия, и потому сплетничают, посмеиваются и терпят. Им не понять, что Миргот сама решает, когда сделать свою очередную связь предметом сплетен, и в твоём случае – как и во всех остальных – это произошло, когда плотские наслаждения с тобой ей приелись. Иное дело императрица: никто не знает толком, что значит быть у нее в фаворе, и не знает, какую пользу вы оба из этого извлечете. Поэтому быть ее фаворитом куда опаснее. Немилость Кродара тоже нужно взять во внимание. Он имперский министр, нечто вроде главного управителя государством. Ты ведь понимаешь, как осложнилась бы твоя здешняя жизнь, будь ты любимцем визирини, но, скажем, врагом Яхора?

Горжик кивнул, чувствуя, что совсем расхворался.

– Может, подойти к Кродару и сказать, что ему нечего опасаться...

– У Кродара вся власть в руках. Он ничего не боится. Друг мой, – барон положил бледную руку на мощное плечо Горжика, – ты вступил в эту игру если не на высшем уровне, то на приближенном к нему, пользуясь покровительством одного из ключевых игроков. Визириния, как ты знаешь, ожидается только завтра, оттого этот прием и устроили. Многие здесь, увешанные таким количеством драгоценностей, что могли бы скупить всю годовую добычу твоего рудника, полжизни тщатся войти в игру на уровне куда более низком, чем вошел ты. Тебе позволяют остаться на нем потому лишь, что ты ничего не имеешь и убедил нас, своих знакомых, что тебе ничего и не нужно. Ты для нас – отрадная передышка после убийственных игрищ.

– Я работал по шестнадцать часов в день в яме, которая доконала бы меня лет через десять. Теперь живу при Высоком Дворе. Чего мне еще желать?

– Видишь ли, ты только что перешел с высокого уровня на наивысший. Явился на прием, куда тебя, как и твою покровительницу, не приглашали намеренно, одетый как варвар, и через пять минут завязал беседу с самой императрицей. Известно ли тебе, что после этого кое-кто из присутствующих мог бы сделать тебя губернатором недурственной, хоть и отдаленной, провинции? Даже более того, если бы ты повернул разговор как надо. Не стану представлять тебя этим людям, ибо ты с тем же успехом можешь дожидаться смерти от руки того, кто жаждет занять такой пост и кому недостает единственно милостивого слова ее величества. Императрица обо всем этом знает, знает и Кродар. Потому-то он, видимо, и нахмурился.

– Но вы ведь тоже говорили...

– Друг мой, я могу говорить с императрицей когда захочу. Она моя троюродная сестра. Когда ей было девять, а мне двадцать три, мы восемь месяцев сидели в одной темнице, и казнь нашу со дня на день откладывали. Сама она не всегда заговаривает со мной потому лишь, что не хочет нарушать хрупкое равновесие между моими войсками в Йенле и ее в Винелете – чтобы какой-нибудь тан или князек не принял ее дружбу за признак слабости и не двинул собственные войска. Мне же, как родственнику, не возбраняется лишний раз подольститься к ней. Ты забавлял меня, Горжик. Терпеливо сносил мою страсть к ботанике. Не хотелось бы услышать, что твой труп выловили в сточной канаве или, того хуже, в порту. А привести к этому может если не улыбка императрицы, так хмурое чело Кродара.

Живот у Горжика снова скрутило. Его прошиб пот, но тонкие пальцы барона впились в плечо и не отпускали.

– Ты хоть понимаешь? Понимаешь, что только что удостоился того, о чем мечтают здесь все и каждый? Понимаешь, что получил то, ради чего треть из нас совершила по крайней мере одно убийство, а другие две трети нечто похуже: сказанное по собственному соизволению слово императрицы?

Горжика шатнуло.

– Мне плохо, Кудрявый. Мне требуется хлеб и бутылка вина.

Барон повел глазами вокруг. Они стояли как раз у конца стола.

– Вот графин, вот хлеб, а вон там дверь. Бери два первых и выходи в третью.

Горжик вздохнул так, что туника прилипла к мокрой спине, сгреб каравай с графином и вывалился за дверь.

– Знаете, – сказала барону молодая герцогиня, – я сейчас видела, как ваш неказистый спутник, который недавно имел беседу с ее величеством, сделал очень странную вещь...

– А знаете ли вы, – Иниге взял ее под руку, – что два месяца назад я, будучи в провинции Зенари, видел редчайшее цветение кристаллического мха? Позвольте вам рассказать...

Горжик снова прошел мимо часового, ухватился за гобелен, отчего графин облепили пыльные змейки, и стал взбираться по лестнице.

На каждом повороте справа задувал резкий ветер. Горжик остановился, уперся рукой в стену, не выпуская графин, и его вырвало. Еще раз и еще, а потом кишки внезапно опорожнились, и по ногам потекло. Обгаженного Горжика била дрожь, в правый бок дуло. Покрытый гусиной кожей, он стал подниматься дальше, лязгая зубами и часто очищая подошвы сандалий о край ступеньки.

Помывшись и бросив тряпку на край медного таза, он, голый, вытянулся ничком на койке. меховая подстилка намокала под его волосами, плечами, ногами. Ему казалось, что все его суставы разжижились, не говоря уже о кишках. От малейшего движения снова бросало в дрожь, и зубы продолжительно лязгали. Он повернулся на спину, и его затрясло опять.

Время от времени он отщипывал кусочек от каравая на полу, иногда макая хлеб в грозный опрокинутый серебряный кубок. Лежал, слушал, как перекликаются за узким окошком ночные птицы, и вспоминал, как впервые узнал, что с тобой бывает, если несколько дней не есть. После драки, наделившей его глубоким шрамом, Горжика бросили в одиночку и три дня не кормили. После один старый раб – он хоть убей не мог вспомнить, как его звали, – отвел его обратно в барак, сказал, чего ожидать, и первую ночь спал с ним рядом. Лишь богатый, тюрьмы не нюхавший господин мог подумать, что Горжик сравнялся с ним положением при дворе. Сам Горжик видел разницу между «тогда» и «теперь» только в том, что теперь ему еще хуже и еще более одиноко, но он по непонятным ему причинам должен делать вид, что здоров и счастлив. И еще: раньше он трудился весь день напролет, а теперь вот уж пять месяцев ничего не делает. Его нездоровье в каком-то смысле явилось продолжением растерянности, которую испытывало все его тело от праздной жизни – к умственной его растерянности эта, телесная, отношения

не имела, но и ум пребывал в постоянном недоумении. Горжику вспомнились родители. Отец погиб – он видел это своими глазами. Мать тоже мертва – то, что он слышал, сомнений не оставляло. Если б она выжила, это бы стало не меньшим чудом, чем его прибытие ко двору. Их убили, когда пришла к власти малютка-императрица и все ее приближенные – визириня, Кудрявый, принцессы Элина и Грутн, Яхор. Их убили, а его взяли в рабство. Может, он даже знаком с человеком, отдавшим в свое время приказ, из-за которого Горжик внезапно перестал быть портовой крысой, как теперь перестал быть рудничным рабом.

Горжик, которого не трясло уже некоторое время, криво улыбнулся во мраке. Кто это был? Кудрявый? Визириня? Кродар? Мысль не новая. Будь он настолько бесчувственным, чтобы не думать об этом раньше, сейчас она могла бы напитать его новой силой, дать ему цель. Он мог бы даже проникнуться жаждой мщения. Но он давно уже, к добру или к худу, выбросил ее из головы как ненужную. Даже теперь, когда она на свой лад могла бы послужить ему утешением, он не пускал ее в сознание – она лишь плавала где-то в глубине, рассыпаясь на мириады осколков. Тем не менее он продолжал учиться, узнавать что-то новое. Итак, та великая власть, что ломает жизни и меняет судьбы народов, есть не более чем вечерняя дымка над лугом. Издали она имеет и форму, и цвет, и плотность, а подойдешь ближе – отступит. Даже когда чувства подсказывают тебе, что ты находишься в самой ее середине, она кажется все такой же далекой, но теперь окружает тебя со всех сторон, мешая видеть всё прочее. Лежа на мокром меху, Горжик вспомнил, как шел через такой вот туман с цепью на шее, скованный с идущими впереди и сзади. Мокрая трава хлестала его по ногам, мелкие камешки впивались в подошвы... Сон уже заволакивал глаза, но одно имя – барон Альдамир – всплыло среди других имен и титулов, узанных за последние месяцы. Не потому ли люди, всерьез озабоченные властью, стараются держаться подальше от нее, чтобы ясно видеть ее очертания? От этой мысли его снова проняло холодом.

Разбудил его шум в коридоре: там волокли тяжелые сундуки, топотали и громко переговаривались. Визириня вернулась, а Горжику стало намного лучше. До сих пор он всегда соблюдал приказ визирини не подходить к ней первому, но теперь встал, оделся и пошел к Яхору просить об аудиенции. С чего это вдруг, сурово осведомился евнух? Горжик сказал с чего и поделился своими планами.

Что ж, признал Яхор, это разумно. Но не пойти ли Горжику сначала на кухню и подкрепиться?

Горжик пристроился на углу большого стола, пошучивая с заспанной кухонной девкой. Толстый повар в засаленном фартуке, успевший вспотеть после разжигания очага, не топившегося неделю, налил ему миску каши, но тут вошел Яхор и заявил:

– Визириня желает тебя видеть прямо сейчас.

Миргот сидела, упершись локтем в пергаменты на столе, и водила большим пальцем с уже надетыми тяжелыми кольцами по лбу – Горжик знал, что этот жест говорит об усталости.

– Итак, вчера ты удостоился беседы с милостивой нашей императрицей.

Горжик опешил: Яхору он об этом не говорил.

– Кудрявый оставил мне записку у двери, – пояснила Миргот. – Расскажи подробно, о чем она говорила, – лучше всего слово в слово.

– Она сказала, что слышала обо мне. Что не выгнала бы меня за дверь из-за того, что я бедно одет...

– Да, верно, – проворчала Миргот. – Последнее время я была с тобой не слишком щедра.

– Я не виню вас, моя госпожа, я просто передаю вам...

– Знаю, что не винишь. – Визириня, взяв его за руку, обошла вокруг стола и села на угол, как он сам в кухне. – Хотя шесть моих бывших любовников, не говоря уж о нынешнем, не

преминули бы в подобном случае обвинить. Нет, обвинение исходило от милостивой государыни нашей. – Она потрепала его по руке и отпустила. – Рассказывай дальше.

– Она кивнула Кудрявому – барону Иниге, – делая знак уйти, и стала говорить о религии. Потом сказала, что самая красивая и самая печальная область Невериона – это провинция Гарт, особенно леса вокруг какого-то монастыря...

– Вигернангх.

– Да. Сказала, что ее там держали в детстве до восшествия на трон. А Кудрявый после добавил, что они были заточены там вдвоем...

– Это я знаю. Сидела за две камеры от них. Дальше.

– Она сказала, что там живут древние боги, которые еще старше монастыря. Говорила что-то о наших безыманных богах. Сказала, что это чудесный край и она хотела бы посетить его снова, но что хлопот от него и посейчас больше, чем от всего остального Невериона.

– А Кродар в это время смотрел на тебя с угрозой? – Визириня вздохнула. – Знаешь ты Гартский полуостров?

– Нет.

– Дикое место, хотя пейзажи весьма красивы. В каждой второй хибаре там либо колдунья, либо колдун, либо безумный жрец. А в нескольких милях южнее лес превращается в джунгли, и живут там сплошь дикие племена, хлопот от коих в самом деле хоть отбавляй. Ты, конечно же, знаешь, Горжик, что императрице известно о нашей связи. Поэтому каждое сказанное тебе слово и каждый взгляд предназначаются мне.

– Тогда я надеюсь, что не принес вам дурных вестей.

– Не принес и хороших. – Визириня провела пальцем по залежам пергамента. – То, что древние боги старше монастыря, содержит намек на мои верования, которых императрица не разделяет. Из-за этих разногласий погибло много людей. Желание вновь посетить те места равносильно намерению объявить войну барону Альдамиру, к чьим сторонникам относимся мы с тобой: именно там стоит его войско. Но то, что она избрала именно тебя, чтобы передать все это... Впрочем, незачем вдаваться в подробности.

– И верно, незачем. Госпожа моя...

Визириня вскинула бровь.

– Я сам просил, чтобы вы меня приняли. При дворе мне больше оставаться нельзя – чем я могу вам служить за его пределами? Стать вашим посланником? Обрабатывать ваши земли? Здесь, в замке, никакой пользы от меня нет.

Визириня молчала долго. Горжик подумал было, что она недовольна им, но тут она молвила, к большому его облегчению:

– Ты прав, разумеется. Нельзя тебе здесь оставаться, особенно после вчерашнего. Я, конечно, всегда могу вернуть тебя на рудник... неудачная шутка, прости.

– Мне нечего вам прощать, госпожа. – Сердце у Горжика, однако, успело екнуть. – Я с радостью приму всё, что вы мне назначите.

Миргот, помолчав еще немного, сказала:

– Ступай пока. Я пришлю за тобой через час, тогда и решим, куда тебя деть.

– Знаешь, Яхор... – Визириня стояла у зарешеченного окна, глядя на стены за пеленой дождя, на чердачные окна, на струящиеся с зубцов водопады. – Он вправду выдающийся человек. Хочет покинуть замок, где прожил пять месяцев. Вспомни, сколько сынов и дочерей провинциального дворянства бездельничают и паразитируют здесь годами, прежде чем прийти к такому решению.

Дождь капал со скошенного подоконника. Яхор сидел в большом кресле визирини, занимая в нем меньше места, чем она, несмотря на немалый вес.

– В рудниках он пропадал зря, моя госпожа, и в замке зря пропадает. Вспомните его жизнь! Мальчонкой бегал в порту, юность провел рабом в руднике, несколько месяцев таился в тени Орлиного Двора, но и тут незамеченным не остался. Не представляю себе, на что может пригодиться человек столь пестрой судьбы. Верните его на рудник, госпожа. Не рабом, если вам это не по душе. Освободите его и сделайте стражником. Это больше того, на что он мог надеяться полгода назад.

Дождь капал с решетки, Миргот размышляла.

Яхор взял со стола искусно сделанную астроябию, провел длинным ногтем по делениям, потер пальцем резной обод.

– Нет, Яхор, не думаю, – сказала Миргот. – Слишком уж похоже на рабство. – Она отвернулась от окна, думая о своем поваре. – Я поступлю иначе.

– Я бы его и рабом вернул, – угрюмо произнес Яхор, – но госпожа моя столь же великодушна и справедлива, как сама государыня.

Визириня подняла бровь, услышав этот сомнительный комплимент, – но ведь Яхор не знал того, что так подробно пересказал ей Горжик.

– Нет, у меня на уме другое.

– На рудник его, моя госпожа! Убережете себя от многих хлопот, если не горестей.

Знай Горжик об этом споре, он, скорее всего, ошибся бы в том, кто какого мнения придерживается, что лишний раз доказывало его непригодность к придворной жизни.

Тон, которым эти мнения высказывались, объясняется просто, хотя самих позиций это не объясняет: последние три недели любовником визирини состоял семнадцатилетний юнец с обкусанными ногтями и ярко-голубыми глазами. В будущем ему предстояло унаследовать титул сюзерена Стретхи, хотя владения его родителей близ болотистой Авилы не превышали величиной богатый крестьянский хутор, а манеры юноши не оставляли сомнений в том, что он настоящий варвар. Он обожал лошадей и был отменным наездником. Два месяца назад, лунной ночью, нагой всадник на вороном коне проскакал мимо каравана визирини, направлявшейся в провинцию Авила, чтобы напомнить ее правителям об уплате налогов. Миргот поручила Яхору устроить ей встречу с желтоволосым видением. В гостях у его родителей она узнала, что они просто мечтают отправить его ко двору; что он, несмотря на юные годы, успел наплодить в окрестностях кучу незаконных детей и стал сущим проклятием для семьи. Миргот согласилась взять его с собой и сдержала слово, но бурные и ненадежные отношения с ним не раз возвращали ее к воспоминаниям о Горжике. Будущий сюзерен уже четырежды залезал в огромные долги, играя со слугами; дважды пытался ее шантажировать; по меньшей мере трижды изменил ей со служанками, чьи хозяева не входили в круг Альдамира. В ночь перед последним отъездом визирини, желавшей отдохнуть наконец от ребенка, у них разгорелся скандал по поводу цепи из белого золота, и юноша объявил, что больше не позволит ей прикасаться к его молодому телу своими увядшими губами и сморщенными ручонками. Это не помешало ему выехать навстречу ее каравану, ворваться к ней в шатер и воскликнуть, что он больше не может без нее жить. Короче говоря, то небольшое пространство, что Миргот отводила для личной жизни, переполнилось до краев. (У Яхора сейчас любовников не было, но завладеть сокровищем визирини он не стремился.) Миргот, верная слову, данному его варварскому семейству, пыталась обеспечить мальчику какой-нибудь военный чин в безопасной части империи. Он, конечно, был еще слишком молод для такого поста и даже лет через десять для него не созрел бы из-за буйного нрава – да и где, спрашивается, найти в империи безопасное место? В первой же схватке дурачка (насчет его умственных способностей она не обманывалась), скорее всего, убьют, и всех его людей вместе с ним, если те не позаботятся убить его раньше. (Она знала, что подобное случалось уже не раз. Солдаты не одобряют варваров на командных постах.) Когда этот неграмотный красавчик получит свой титул, его будут либо любить, либо презирать. А

Миргот, разбираясь с его долгами, к удивлению своему узнала, что при дворе его никто, кроме нее, не любит. Однако она пока не хотела никуда его отсылать и хлопотала о его назначении лишь в те минуты, когда предчувствовала, что скоро захочет этого очень сильно.

Приказ о назначении пришел, пока ее не было, и лежал у нее на столе. Нет... не сейчас еще, не после того, как мальчик прискакал к ней ночью. Скоро ей определенно снова захочется сплавить его подальше, но и новый приказ получить недолго.

Когда Яхор привел Горжика и удалился, она сказала:

– Горжик, я отправляю тебя на полтора месяца к мастеру Нарбу. Он обучает личную гвардию Кудрявого, и многие полководцы империи учились у него военному делу. Почти все его ученики будут на два-три года моложе тебя, но это скорее преимущество, чем помеха. К концу этого срока ты получишь небольшой гарнизон на краю пустыни Кхаки, северней Фальт. Сейчас я дам тебе вольную, а когда отслужишь, станешь совсем вольной птицей. Надеюсь, что ты отличишься ради императрицы, мудрой обожаемой владычицы нашей. На этом наши взаимные обязательства заканчиваются, согласен? – улыбнулась Миргот.

Горжик остолбенел почти как в тот день, когда она выкупила его с рудника.

– Великодушие моей госпожи не знает границ...

– Это императрица великодушна и справедлива, – поправила визирина, – а я всего лишь мягкосердечна. – Она рассеянно повернула позеленевший диск астробии. – Вот, возьми на память – и выслушай последний совет, который я тебе дам. Запомни накрепко, что тебе вчера говорила императрица. Обещаешь? Так вот: если тебе дороги жизнь и свобода, не приближайся к Гартскому полуострову. Если вдали за деревьями покажется верхушка Вигернангхской колокольни, немедленно поворачивай и скачи, беги, ползи прочь как можно быстрее. Всё. Бери и ступай.

Горжик с астробией в руках коснулся лба и попятился вон.

– Жизнь и без того обходилась с ним достаточно круто, моя госпожа. Сделав его офицером, вы не облегчите его участь. Он только возмнит о себе невесть что, к несчастью для себя и конфузу для вас.

– Возможно, ты прав, Яхор, – а возможно, и нет. Увидим.

Дождь за окном, уступив часок солнцу, зарядил снова, скрывая из глаз дальние башни. Вода стекала с подоконника на пол.

– Здесь на столе утром была астробия, госпожа...

– В самом деле? Ах да. Мой голубоглазый чертенок забежал и стянул ее. Не знаю, что мне делать с этим маленьким тираном, Яхор. Он настоящий варвар и сильно мне докучает.

Полтора месяцев довольно, чтобы получать удовольствие от верховой езды, но мало, чтобы научиться хорошо ездить.

Полтора месяцев довольно, чтобы усвоить правила и приемы фехтования, но мало, чтобы хорошо овладеть мечом.

Мастер Нарбу, сам рожденный рабом в баронском поместье у подножья Фальт, недалеко от легендарного Эллама, с детства отличался звериной грацией, и хозяин, повинувшись капризу, отдал его в обучение собственному мастеру военного дела – обычно рабам в руки оружия не дают. Нарбу, повинувшись отчаянию рожденного в неволе, учился без отдыха утром, вечером, днем и ночью. Поначалу, что мог смекнуть всякий, кроме его легкомысленного барона, он просто хотел сбежать, но после влюбился в боевые искусства и овладел ими в совершенстве. Барон хвастался им перед друзьями и устраивал потешные бои – как с рабами, так и со свободными воинами. Вскоре с ним начали сражаться и знатные мужи, двое из коих погибли. Ситуация сложилась парадоксальная: Нарбу мог выпустить аристократу кишки лишь с позволения другого аристократа. Во время провинциальных междоусобиц он отважно бился на сто-

роне своего господина или отправлялся к его сторонникам как наемник; в неполные двадцать лет репутация у него сложилась такая, что его чуть не силой вынудили обучиться еще и стратегии. Историю чьей-то жизни и в тысячу страниц не уложишь – постараемся не тратить на это больше тысячи слов. Двадцать лет спустя Нарбу и его господину удалось победить в одной из многочисленных битв, после которых малютка-императрица Инельго взойшла на Орлиный Трон. Барон пал в сражении, а Нарбу великодушная правительница пожаловала свободу и сделала наставником собственной гвардии, где он обучал сыновей угодных ей вельмож для еще более жестоких сражений. Две прежних наставницы самого Нарбу были дочерьми загадочной Западной Расселины, и немалую часть своего мастерства он приобрел благодаря этим женщинам в масках с диковинными двойными клинками. Дважды он сражался вместе с ними, один раз против них. Они старались не уходить большими отрядами далеко от родных краев, но он всегда подозревал, что чисто мужская армия Невериона берет не столько умением, сколько числом. Новых своих учеников он встречал неласково: все вы неженки, говорил он им, а если и не изнежены, так непослушны, а если и дисциплинированы, так бессердечны. Забудьте о том, чему вас учили раньше, хороших солдат из вас все равно не выйдет, они выходят только из простого сословия. Сам Нарбу, как известно, происходил из самых низов, учился у простолюдинов и дрался с простолюдинами, но Горжик стал первым простолюдином, пришедшим к нему после шести лет наставничества. Тут мастер внезапно открыл, что умеет учить только аристократов, изнеженных, недисциплинированных и бессердечных, и сразу же невзлюбил здорового послушного парня. Во-первых, сложение Горжика (на что не замедлил указать ему Нарбу) не располагало к верховой езде или тонким искусствам боя. Во-вторых, прошел слух, что попал он сюда не благодаря своей недюжинной силе, а потому лишь, что был любовником некой придворной дамы. Но как-то рано утром мастера разбудил непривычный шум во дворе. Посмотрев в окно, он увидел разные учебные сооружения, освещенные луной, – до рассвета оставалось не меньше часа. На веранде ученической казармы, под худой соломенной крышей, металась туда-сюда чья-то нагая фигура, пересеченная тенями от столбов.

Новый ученик сделал несколько выпадов деревянным мечом, вернулся в исходную позицию, снова выставил меч вперед. Выпад, защита, исходная... Неуверенно, рука не выпрямлена, клинок направлен высокомерно... Новенький прислонил деревянный меч к стенке, взял тяжелый железный для укрепления мышц и проделал всё сызнова. Теперь лучше... Рука вытянута как надо... Лучше, но не совсем хорошо. С утяжеленным мечом он, конечно, управляется легче, чем другие юнцы, – оно и неудивительно, с его-то буграми мускулов. Но с чего он вышел упражняться в такую рань?

Нарбу прищурился и разглядел нечто, что не мог бы объяснить ни барону, ни простолюдину. В поворотах туловища, мерцании глаз, движениях рук и бедер чувствовалась сосредоточенность, близкая к вдохновению. Нарбу не видел в этом парне особого сходства с самим собой в молодости, но видел то, что еще важнее.

Другие... Да где им. Губы Нарбу под седой щетиной шевелились, подбирая слова. Они небось из койки до рассвета не вылезут. А этот... В нем есть крепкая простонародная кость.

Нарбу снова улегся спать.

Бывший раб-наемник по-прежнему не знал, как учить бывшего раба с рудников – у него и слов таких не было, и можно ли уложиться в полтора месяца? Но теперь – и на уроках, и в часы отдыха – он все-таки находил кое-какие слова.

– Ищи всадника, который держит поводья ближе к уху коня, направив вниз большой палец. Это нарникс – он покажет тебе, как надо ездить верхом в горах. Держись рядом с ним и смотри в оба. – Или: – Лучшие метатели копий, каких я видел, – это адамиты, жители пустыни. Маленькие, робкие, с медной проволокой в ушах. Тебе повезет, если в твоём гарнизоне окажется кто-то из них. Пусть поучат тебя, может, чему и выучишься... – Или: – Теперь насчет реквизиции воловьих упряжек в болотах Авилы. Если берешь их у Кожаных Щитов, погон-

щики должны быть из этого племени: волы у них хорошие, но пугливые. А если у Пальмовых Щитов, то и твои солдаты справятся: они волов по-другому дрессируют, не знаю уж как.

Нарбу вбивал свои гвозди когда только мог, стараясь извлечь как можно больше пользы из полутора месяцев. Что приходило в голову, то он и говорил; кое-что запоминалось, кое-что забывалось. То, что Горжик забыл, могло бы в будущем избавить его от многих забот и сберечь ему много времени. Некоторые вещи из тех, что запомнились, ему так и не пришлось применить. Тем не менее Горжик научился у Нарбу многому помимо военного ремесла (в котором под конец вышел на первое место). Миргот не было в замке, когда он отправился к месту своего назначения.

3

Ехали на волах по узкой дороге; слева над деревьями высились горы. После Горжик и еще шесть молодых офицеров перешли ледяной ручей по пояс в воде, пересели на лошадей и поехали по крутым сланцевым склонам. Вдали виднелись лагерные костры, внизу молочным морем при свете месяца белела пустыня.

У Горжика как у командира было большое преимущество: он пять лет командовал полусотней рабов, а в гарнизоне у него имелось всего двадцать девять солдат. Это были, конечно, не отчаявшиеся люди, угодившие в неволю до конца жизни, но с годами Горжик разницу перестал замечать: в ту пору солдатам на границе жилось тяжело. Офицер из него получился хороший. Люди его любили, а он их спасал. В то время если больше десяти гарнизонов сходились вместе, то двадцать человек из ста, как правило, умирали от болезней без всяких военных действий. Спасибо мастеру Нарбу, толковавшему о целебных травах, заплесневевшей плодовой кожуре и мхах, спасибо ботаническим изысканиям Кудрявого; Горжик успешно применял все это на деле. Что касается собственно армии, созданной, видимо, лишь ради того, чтобы сокрушить недавно обретенную Горжиком надежду на долгую жизнь, то он направлял все силы своего ума на то, чтобы выжить. Битву он видел как испытание, которое нужно выдержать, и людьми попусту не жертвовал. Солдаты часто приводили его в недоумение (о чем он умалчивал) как свирепым своим дружеством (бледным подобием стычек между рабами, когда один-два человека непременно прощались с жизнью), так и пренебрежением опасностью и смертью (которых каждый раб в здравом уме всячески избегал). Приводили они его и в уныние (на которое у него попросту не было времени – впоследствии оно вылилось в анекдоты о тупых солдафонах).

Своих людей он знал хорошо и общался с ними куда свободнее, чем с тогдашними офицерами, но друзей заводил нечасто и ненадолго. Обычное дело: молодой рекрут принимает вечерние посиделки у костра или разговоры в тумане на утреннем марше за признак дружеской близости, а потом получает нагоняй или, что тоже бывало, затрещину. Горжик, очень не любивший раздавать нагоняи и тумак, всегда вспоминал, как графы и принцессы наутро после вчерашних откровений делали вид, что не замечают его. Почему эти сопляки ничему не учатся? Он ведь выучился.

Те, что оставались в гарнизоне, тоже в конце концов усваивали урок и уважали Горжика за науку. Некоторые даже признавались ему в любви – спьяну, в деревенской таверне или в горном лагере, разжившись ромом у прохожего каравана. Горжик смеялся, слушая их. У него с самого начала была такая позиция: я могу умереть; они тоже; но если их смерть может отсрочить мою, пусть лучше умрут они.

Несмотря на столь эгоистический постулат, он проявлял достаточно и рассудительности, и смелости, чтобы удовлетворить как вышестоящих, так и своих подчиненных. Время от времени, сталкиваясь с явной трусостью (которую всегда истолковывал как явную глупость) кого-то другого, он говорил себе, что в идее геройства, пожалуй, кое-что есть. «Пожалуй» – дальше в целях выживания он не шел. И потому выживал.

Выживание, однако – удел одиноких. Полгода спустя Горжик нанял писаря, чтобы тот обучил его новейшей манере письма, и состряпал длинное, корявое послание визирине. У него хватило ума не упоминать о своих чувствах к ней и о том, скольким он ей обязан; он просто рассказывал, чему научился и что повидал. Рассказывал о невеселом настроении на рыночной площади городка, через который они прошли; о суетливой горячке контрабандистов в маленьком порту, где они стояли последние две недели; о казенном здании, которое хотят воздвигнуть на месте трущоб в одном северном городе; о бронзовом цвете неба в горах на месте их недавнего лагеря. Визириня перечла его письмо несколько раз с любовью, только возросшей, когда пыл страсти угас, – низким душам не понять этого.

«Среди лейтенантов ходят слухи, – писал Горжик, – что все здешние гарнизоны отправят на юг, в Гарт, на месяц. Мы сыграли в кости с майором, выпили пива. Я выиграл у него ножи с костяными рукоятками. Он сказал, что два гарнизона пойдут в Абл-айни, на болота западней Фальт – дурное место, куда опасней и скучней, чем на юге. Там придется постоянно унимать свары неблагоприятных баронов. Я вернул ему ножи. Он поскреб свою жидкую бородавку и обещал отправить меня на болота, решив, что я не в своем уме».

Визириня прочла это на рассвете, стоя у окна. За окном капало, как и в день их прощания полгода назад. Вспоминая Горжика, она поглядывала на письменный стол, где тогда среди пергаментов лежала бронзовая астролябия. Огонек лампы колебался, грозя погаснуть, и выправился. Миргот улыбнулась.

К концу своей трехгодичной службы (гонiec из столицы, доставивший ему краткий и чисто официальный ответ визирини, порядком укрепил его репутацию) Горжик заметил, что кое-кто из его солдат тайно провозит соль из пустыни в горы. Все это время их гарнизон перемещался от Венаррского каньона в пустыне, где то и дело случались междоусобные стычки, к сравнительно спокойному Элламону в Фальтских горах (где они, как и все путешественники, наблюдали по вечерам с белых известняковых склонов, как чертят зигзаги в небе крылатые чудища). Особого значения контрабанде Горжик не придал – он просто вызвал к себе того, в ком подозревал главаря, и потребовал себе скромную долю прибыли. На эти деньги он купил далеко на юге три повозки, шестерку волов и с дерзостью, изумившей всех посвященных (императорские таможенники были людьми суровыми) за неделю до отставки отправился куда-то со своим соляным обозом. Повозки свернули с большой дороги, где их встретила, похоже, чья-то частная стража.

– Сюда нельзя! Это владения принцессы Элины!

– Проводите меня к ее высочеству, – сказал Горжик.

Когда стемнело, он вернулся к обозу. В сыром, без крыши, чертоге пылали огни; принцесса в расшитом дорогими камнями платье, с сальными волосами и руками грязней, чем у Горжика, встретила его с бурной радостью.

– Видишь, к чему я вернулась? Тут одни дикари – считают меня богиней, а поговорить с ними не о чем! Что тебе пишет визириня? Ничего, что уже рассказывал, повтори еще раз: я уже больше года не получала оттуда вестей. Я рвусь туда всей душой – видеть уже не могу эту заплесневелую развалину. Нет, сядь вот сюда, рядом со мной; сейчас нам принесут еще хлеба, сидра и мяса. Расскажи мне снова, друг Горжик...

Она дала ему разрешение проехать через ее земли, и он избежал досмотра.

Когда он вышел в отставку, татуированные люди из замиренного пустынного племени подарили ему медные вазы искусной работы. Аргинийские горожане купили их у него вдесятеро дороже, чем, насколько он помнил, подобные вещи стоили во времена его юности. Затем, уже год спустя, он закупил у горянок Кхاهشа, что лежит намного ниже крепости Элламон, бурные листья с тамошних ягодников – куря их, хмелеешь сильнее, чем от пива; Горжик привез их в порт Сарнесс и стал продавать малыми порциями морякам с торговых судов. Нанятый им

помощник рассказал ему о неплотно закрытом окне склада, где хранилось... Однако не будем попусту тратить слова и время.

Горжик заложил основы своей судьбы. Все прочие его занятия – наемник, егерь у провинциального графа, надсмотрщик на лесосеке того же графа, лодочник на реке, протекавшей по графским владениям, контрабандист в Винелете, в устье этой реки, снова наемник, караванный стражник – были лишь вариациями того, о чем мы уже рассказали. В тридцать шесть лет Горжик был высок, мускулист, со шрамом на лице и редеющими жесткими волосами. Выглядел он не старше тридцати лет, хорошо ездил верхом и владел мечом, умел говорить с рабами, ворами, солдатами, продажными женщинами, купцами, графами и принцессами – то есть представлял собой в ту эпоху идеальный продукт цивилизации. Все ее атрибуты – каторжный рудник, Высокий Двор, армия, порты и горные крепости, пустыня, поля и леса – внесли свой вклад в формирование этого гиганта, носившего меха в холод, а в жару ходившего голым (не считая астролябии с хитроумными знаками, всегда висевшей на его мощной шее). Человек компанейский, он не прочь был и помолчать. Часто на заре в горах или вечерами в пустыне он задумывался о том, что есть вещи поважнее умения рассказать нужную историю в нужное время. Однако для своего времени этот темнокожий гигант, солдат и авантюрист, с желаниями, о которых мы пока ничего не сказали, и мечтами, о которых только упомянули, умевший одинаково легко говорить с варварками в тавернах и придворными дамами, с рабами в городах и провинциальными аристократами в их поместьях, был человеком цивилизованным.

Нью-Йорк, октябрь 1976

Повесть о старой Венн

Речь здесь, конечно, не о деконструктивной цепочке: ведь если образ насильственно отрывается от источника, жизни, значения, к которым по всей видимости относится, в каждом из этих эссе более-менее четко ставится второй фундаментальный вопрос. Что, если мой текст – это отражение отражения? Возможно ли в таком случае его прочитать?

Кэрол Джейкобс⁹. Маскирующая гармония

1

Ульвенские острова, лежащие далеко к востоку от порта Колхари, известны своими рыбаками – хотя, если бы кто-нибудь потрудились сосчитать, на каждую рыбацкую лодку приходится четверо рыбаков. Своей славой острова обязаны, увы, скорее полной патриархату в стране (хотя трон там занимает императрица), чем подлинному порядку вещей.

Тем не менее мать Норема была помощником шкипера на лодке своей старой родственницы, в честь которой и назвали Норема, ведь рыболовство – дело семейное; первые два года девочка провела на шаткой палубе, привязанная к материнской спине. Снар, ее отец, был корабельщиком, и после рождения второй дочери Куэма перешла работать на его верфь. Вторая девочка умерла, но Куэма так и осталась на берегу, где год от года обрастало плотью все больше деревянных скелетов – сперва желтых, потом серых. Она носила охапки смолистой коры в деревню, где кузнец ковал ей волшебные гвозди: муж ее с помощью Венн открыл, что они не ржавеют. Она варила клей в котлах, а дочка бегала тут же. Куэма гордилась мужем, но скучала по морю.

Родилась третья дочь – эта выжила. Снар и Куэма теперь больше руководили, чем работали сами, а Норема нянчилась с младшей сестренкой больше, чем мать. Снар, высокий, угрюмый, с жесткой бородой и мозолистыми руками, страстно любил свою семью, свою работу и рычал на всякого, кого не считал своим другом; это мешало ему выйти за пределы узкого круга заказчиков, которым он строил и чинил лодки, хотя его изделия пользовались теперь спросом на всех островах и на материке тоже. Куэма, с другой стороны, слыла во всех кабаках их гавани хорошим моряком (на языке того времени слово «моряк» применялось и к мужчинам, и к женщинам), то есть человеком, способным жить в тесном соседстве с другими при сильной качке. Поэтому продажей и торгом с поставщиками занималась больше она; девочки часто бывали вместе с ней на других островах, окаймленных синими водами и серебристым песком.

Возвращались они из таких поездок по ночам, на лодке, которую сами строили (двенадцатилетняя Норема как-никак уже сама таскала кору и шпонки, конопатила швы и варила клей, а трехлетняя Йори однажды вступила в ведро с этим клеем). На решетке жарилась рыба, скалы Малых Ульвен торчали из моря, как ребра окаменевшего чудовища. Медные бляшки в ушах Куэмы сверкали при свете пламени, а волосы при луне казались не рыжими, а седыми, как кусты на холмах. Она рассказывала дочкам про морских чудовищ, затонувшие города, водяных колдуний и заклинателей ветра, делилась морскими и рыбацкими познаниями, а иногда они просто болтали о том о сем посреди темного зеркала, обеспечивавшего им нужное освещение и нужную фокусную длину. (Венн как-то показала Норема свое кривое зеркало, и термин, который она при этом употребила, вполне можно перевести как «фокусная длина».) Временами они просто молчали; вода плескала в борт, ночь колыхалась вокруг. Йори засыпала,

⁹ Кэрол Джейкобс – профессор университета штата Нью-Йорк, филолог.

прижавшись к материнским ногам, а Норема смотрела на Куэму поверх огня, видела, как она счастлива, и спрашивала себя, хорошо ли сделал отец, приобщив мать к своему ремеслу. Ей место здесь, где дует ветер, светит луна и море, Великая Мать, баюкает лодку у себя на груди, как женщина свою дочку.

Норема тоже иногда засыпала, не зная, что увидит первым делом, когда проснется: огни в родной гавани или алую зарю – небо, вскрытое солнцем, как заточенным медяком. Куэма крепила причальный конец на кнехте – одна босая нога на палубе, другая упирается в борт, сухожилия на коричневой лодыжке натянуты. Норема доставала мешки из шалаша, служившего им каютой, Йори прыгала вокруг, напевая.

А что же Венн?

Норема знала ее сызмальства как друга семьи и лишь потом узнала, что Венн подружилась с ее родителями в разное время. Отец мальчиком делал вместе с ней игрушечные лодочки; они вместе изобретали инструменты и оснастку, которыми он до сих пор пользовался – а когда отец еще не родился, Венн научилась прокладывать путь по звездам. Время от времени она, по слухам, пропадала куда-то. В одну из таких отлучек она побывала в Неверионе и там (взрослые до сих пор толковали об этом) познакомилась с великим тамошним мудрецом, который придумал замки и ключи; узнав о звездных путях Венн, он сделал три диска – тарелку, тимпан и паук, которые зовутся теперь астролябией. Этот мудрец, говорят, даже приезжал иногда на остров, чтобы встретиться с Венн. С матерью Венн когда-то жила в одной хижине; мать по утрам уходила в море со старой Норемой, а Венн зачем-то шла в лес и смотрела на водопады. Потом мать вышла за отца, и они постепенно перестали видеться с Венн, что была на восемнадцать лет старше их обоих, но всегда говорили, что она – самая мудрая женщина на их острове.

Норема же подозревала, что Венн попросту не в своем уме.

Однако и она, и другие деревенские дети – человек тридцать пять – каждое утро ходили к старухе учиться. Прежние ее ученики, теперь сами родители, в свое время построили по ее указаниям тростниковую хижину; по особым зарубкам на ее крыше можно было влезть на гребень и увидеть весь остров до самой гавани. Дети, сидя под навесом, делали клетки для пойманных ими зверушек и разучивали знаки, написанные Венн на листьях из сухой сердцевины тростника, что рос на болоте. Одни знаки обозначали животных, другие рыб, третьи числа, четвертые мысли. Были знаки и для слов: их придумала Норема, за что Венн очень хвалила ее – все ученики в ту осень обменивались секретными посланиями. Знаки, сделанные красной глиной, означали одно, древесным углем – другое. Можно было пользоваться знаками Венн или придумывать свои собственные. Тростник на это изводили охалками, и Венн заставляла их высаживать в мягкий ил его молодые побеги. Потом кто-то додумался завести особый знак для имени каждого ученика: посмотришь, и сразу видно, от кого письмо получил. Венн, как видно, перехватила одно из писем, и ей кто-то его прочел.

– Пора это прекратить, – сказала она, держа свою клюку двумя руками у подбородка; осенний дождь стекал с навеса у нее за спиной, застилая большой дуб, склон холма и ведущую в деревню тропинку. – Или хотя бы сильно урезать. Не я эти знаки выдумала, я просто выучила их, когда в Неверионе была. И приспособила для себя, как делаете и вы. А знаете, кто их выдумал и до сих пор ими пользуется? Рабовладельцы, вот кто. Если можешь написать чье-то имя, к нему можно приписать что угодно: кто как работал, сколько наработал, какое время на это потратил, – и сравнить эту запись с тем, что написал о других. Сделав это, ты сможешь этими людьми управлять, и очень скоро они попадут к тебе в рабство. Просвещенные люди хорошенько подумают, прежде чем позволить кому-то записать свое имя. А у нас тут просвещением и не пахнет, поэтому лучше прекратим это.

Венн опустила свою клюку, а Нореме вспомнился один старик на отцовской верфи: он иногда приходил на работу, иногда нет, и отец всегда ворчал по этому поводу. Если я напишу его имя, подумала Норема, и начну отмечать, когда он работал, а когда нет, и потом покажу

отцу, отцовская воркотня перейдет в откровенный гнев. Ступай прочь, скажет он старику, не заработал ты на еду и жилье. Норема почувствовала себя чуть ли не всесильной, подумав об этом, и это напугало ее.

Но Венн уже начала рассказывать сказку. Норема очень любила слушать те же самые истории из уст матери, но Венн рассказывала лучше, страшнее. Норема сидела прямо на земле, плечом к плечу с другими детьми, а Венн на бревне. Солнце победило дождь, капли сверкали в траве, ручьи бежали по склону, но здесь, под навесом («Мы сидим в тени знания, — часто говорила Венн, — оно написано на камнях и деревьях не менее ясно, чем на моих листочках»), Норема не раз покрывалась мурашками, слушая, как одинокий странник приближается к древней груде камней или лодка отважных сестер-двойняшек подходит все ближе к покрытым водорослями скалам.

Дети потом пересказывали услышанное (вот так же, наверно, Венн учила раньше и мать Норема), и она сердилась, когда они путали имена великанов и королей, неправильно называли расстояния между островами, плохо описывали сказочные края в разное время года; всё остальное они могли переиначивать и приукрашивать кто как хочет. Что за чудовища охраняли клад, зарытый между двумя белыми камнями, один из которых в последний день лета, через час после восхода, отбрасывал тень вдвое длиннее другого? (Вот это запомните накрепко, говорила Венн.) Как звали дядюшку героя и героини с материнской стороны, имевшего в услужении двадцать три человека? (И это нужно запомнить.) Всё это так и норовило ускользнуть из памяти.

Иногда Венн, отпустив учеников по домам, оставляла в школе с полдюжины избранных. Ходила с ними в лес, на море, пускала их в свою полную чудес хижину, сама заходила к ним в гости по вечерам. Норема, входившая в эту группу, одно время думала (как и остальные избранные), что их отличают как самых умных. Позже она поняла, что они, хотя и неглупые, были всего лишь терпимее других и добрее относились к чудаковатой старухе. Взрослым жителям деревни Венн внушала чуть ли не благоговение, но дружила она больше с детьми, и эти ее любимчики не были какими-то особенно умными и одаренными. Они были просто ее друзьями.

Как-то раз Норема и еще двое «приближенных» шли с Венн под деревьями вдоль ручья. Старуха ворошила палкой опавшие листья, а Норема, повествуя о том, как трудно работать на родительской верфи, начинала задумываться, слышит ли ее Венн. (Делл и Энин, увлеченные спором, точно не слышали.) Венн остановилась на широком, выступающем в воду камне. В солнечном луче толклись комары.

Венн, нервно постукивая палкой, сказала хрипло:

— Я кое-что знаю. Знаю, как рассказать вам об этом, но не знаю, как объяснить, что это. Могу показать вам, что оно делает, но само «нечто» показать не могу. Идите сюда, на солнышко.

Делл замолчал, Энин насторожил уши.

Норема улыбнулась, скрывая, что смущена своей болтовней.

Венн, повесив клюку на локоть, порылась в карманах своей оранжевой хламиды — поношенной, с пыльным подолом.

— Поди, поди ко мне. — Она кивнула Нореме коричневым подбородком, делая знак встать на камень. — Что это? — Темные пальцы развернули тростниковый листок. Красные символы на нем слева направо обозначали трехрогого жука, трех рогатых ящериц, двух хохлатых попугаев. Красный цвет давал понять, что Венн их видела до полудня.

— Утром ты видела трехрогого жука, трех рогатых ящериц, двух хохлатых попугаев — наверно, в устье, на том берегу: на этом попугаи не водятся. И было это, наверно, вчера, потому что позавтраком ночью шел дождь, а ящерицы вылезают обычно наутро после дождя.

– Очень хорошо, – улыбнулась Венн. – Теперь ты, Энин. Стань тут, на камне. – Высокий с короткими волосами мальчик прищурился на солнце. Зеркальце у него на животе пускало зайчиков на грязный подол Венн. (В последнем месяце все мальчишки начали носить на животе зеркала.) – Возьми листок, Норема. Теперь присядь и посмотри на него в зеркале.

Норема согнула коленки и посмотрела. Ниже первых волосков на груди Энина и его черепахового пояса виднелось ее сосредоточенное лицо и еще...

– Ну да, теперь всё наоборот, – сказала она. Отцовские мастера, расписывая носы лодок, часто смотрели в зеркало на самые тонкие штрихи, которые по лекалу не сделаешь: в отражении изъяны виднее.

– И как ты это прочтешь?

– Ну-у... хохлатые попугаи два, рогатые ящерицы четыре... нет, три... и зеленая... рыба! – Норема засмеялась. – Зеленая рыба – это знак жука наоборот, вот почему я запинаясь. – Она хотела встать, но Венн сказала:

– Подожди. Теперь ты иди сюда, Делл.

Мальчик пониже Энина, заплетавший длинные волосы в три косы, встал на камень рядом с Норемой.

– Нет, стань позади, вот так. А ты, Норема, сядь так, чтобы зеркало Делла отражалось в зеркале Энина.

Норема, неловко перемещаясь на корточках, стала распоряжаться:

– Повернись сюда, Энин... нет, в другую сторону... не так сильно... вот.

– Теперь прочти то, что видишь, – сказала Венн.

– Ой... – Норема, само собой, ожидала, что знаки снова выстроятся правильно, слева направо – но теперь она видела в зеркале собственный затылок, а на листке рядом с ним черным углем было написано вот что: «Эта великая звезда омывает горизонт двумя чашами воды после восьмого часа». Норема со смехом встала и перевернула листок: черные знаки стояли на обороте красных. – Я даже не знала, что тут что-то есть.

– В том-то и дело, – сказала Венн.

Тут зеркала, конечно, стали отвязывать и привязывать заново, чтобы мальчики тоже могли увидеть переменчивые слова. Когда зеркала вернулись к хозяевам, Венн сказала:

– Я так и не рассказала вам то, что хотела. Только пример привела. – Все сошли с камня, и она снова пошевелила палкой листву. – А вот вам еще один. В вашем возрасте – ну, может, чуть постарше – я сразилась с морским чудищем. Посейчас не знаю, что это была за тварь. Я никогда ни о чем подобном не слышала и с тех пор ничего такого не видела. Была лунная ночь, и я, семнадцатилетняя, плыла на лодке одна. Оно вылезло у скал какого-то необитаемого острова, вцепилось в лодку и накренило ее так, что тот борт ушел под воду. Многорукое и с множеством стебельчатых глаз. Одно щупальце обмотало мою ногу, но я отсекала его рыбацким ножом. Чудище ушло назад в море, лодка выровнялась, но щупальце длиной футов в пять долго еще извивалось на палубе. Я хотела разрезать его и посмотреть, как работают мышцы, но мне никак не удавалось его привязать. А когда я скрепила разорванные им снасти, оно тоже ушло в пучину через пролом в борту. – Венн осторожно ступала между камнями. – Всё это время, с того мгновения, как оно вылезло, и до рассвета, уже отплыв от того места на много миль, я не знала, буду ли жива, ведь оно могло погнаться за мной. Вопреки своему любопытству касательно щупальца, я жила эти часы так, будто вот-вот исчезну с поверхности моря, как пена, сметенная плавником дельфина. Усиливает ли такой страх мыслительные способности и душевные силы? Думаю, да. Он еще и опустошает – поэтому мне, когда я привела лодку в гавань, не терпелось излить эту пустоту в слова. Я рассказала об этом в таверне – на ее месте теперь другая стоит, а ту, старую, снесло ураганом за два лета до твоего рождения, девочка, – за миской горячей ухи. Слушало меня с полдюжины человек, потом еще дюжина набежала, все развевали рты и качали головами. Я рассказывала, как из моря, там-то и там-то, поднялось чудище с множеством глаз

и щупалец. Как оно напало на меня, проломило мне борт, как страшно и любопытно мне было. Но, рассказывая все это и глядя на них, я поняла вот что: я тогда не знала, выживу или нет, а они-то знают, что я жива, поскольку сижу перед ними и рассказываю дрожащим голосом о своем приключении; мне не дано передать им свои тогдашние чувства. И что же я сделала, когда поняла это? – засмеялась Венн. – Продолжала рассказывать, а они продолжали слушать. И чем больше я припоминала подробностей – лунный свет на чешуе, зловоние разрезанной плоти, слизистый след на палубе, белые щепки в пробоине, моя полнейшая неуверенность относительно будущего, – тем больше они убеждались, что я пережила нечто страшное, но что именно это было, понять не могли.

Жена хозяина дала мне пару одеял, и в ту ночь я спала у них под лестницей, с мешком кедровых стружек вместо подушки. О чем я думала, просыпаясь то и дело, пока окно надо мной не стало светлеть? О том, что со мной случилось? Нет. Я вспоминала, как *рассказывала* об этом. Отбирала из своего сбивчивого рассказа то, что моих слушателей особенно поразило. Выстраивала свои воспоминания так, чтобы людям становилось все страшней и страшней, как и мне. Скрепляла события надлежащими объяснениями. И утром, когда в таверну нахлынули другие люди, слышавшие о происшествии от вчерашних, я рассказала им то же самое, что рассказываю сейчас вам. Не заикалась больше, не припоминала то одно, то другое. Теперь это была такая же история, как и те, которыми я забавляю или пугаю вас. Теперь меня куда больше устраивало то, как они меня слушают – я направляла свой рассказ, следуя собственным впечатлениям от той жуткой ночи. Но вот что я скажу вам: несмотря на чешую, стебельчатые глаза и слизь, несмотря на то, что я рассказываю о нем теми же первыми сбивчивыми словами, только спокойнее – чудовище было совсем не таким. – Венн лукаво прищерилась. – Понимаете?

– Кажется, да, – нахмурилась Норема.

– То, что с тобой случилось, – это как красные знаки на тростниковом листке, – сказал Делл.

– А твой первый рассказ похож на их зеркальное отражение, – подхватил Энин.

– А то, что ты рассказала утром, – Норема чувствовала, что теперь должна высказаться она, и ей от этого было очень не по себе, – это отражение отражения. Нечто совсем другое, имеющее собственный смысл.

– Насколько могут быть похожи зеркала и чудовища, – промолвила Венн, чувствуя себя, похоже, столь же неловко. – Это напоминает мне, девочка, твои слова об отце.

Норема моргнула: она думала, что Венн пропустила ее излияния мимо ушей.

– Да... Вот вам еще пример, хотя и не столь наглядный. В молодости я мечтала строить чудесные, небывалые лодки, а твой отец мальчиком делал их модели. Как-то он сказал мне, что это очень помогло ему, когда он начал сам строить лодки. Мои мечты, его модели, лодки, которые он строит теперь, – всё это еще один пример того, о чем я говорю. Но потом мне пришло в голову еще кое-что, и это, возможно, даст тебе более ясное понятие об отцовском деле. Я подумала о племенах рульвинов, живущих в наших горах. Они застенчивы, горды и в прибрежные деревни почти не приходят. Мужчины охотятся на диких гусей и коз, женщины выращивают репу и другие плоды. Если записать их имена и отметить, кто сколько часов отработал (а я однажды сделала это, будучи там), то получится, что женщины работают намного больше мужчин. Но поскольку на море рульвины почти не бывают и рыбу не ловят, мясо для них очень много значит, и охотники пользуются большим уважением. На каждых несколько женщин приходится один охотник, который приносит им мясо. Женщины строят дома, лепят посуду, плетут корзины, шьют одежду, делают украшения и меняются всем этим друг с другом; если не считать особо важных решений, племенем управляют они. По крайней мере, так было раньше. Все вы слышали рассказы тех, кто бывал у рульвинов; наши приморские жители качают головами, делают гримасы и говорят, что у горцев все не так. Побывав у них в последний раз, около трех лет назад, я смотрела в оба глаза, слушала в оба уха и делала заметки на

тростниковых листках. До тех пор рульвины жили только обменом, которым занимались их женщины. Даже мясо, добытое охотниками, приносили на меновой торг они. Мужчины иногда менялись оружием, но это был скорей обряд, чем повседневная сделка. Простая, обособленная жизнь – остров на острове.

Но мы, приморские жители, ходим на своих лодках всюду и вот уже три поколения пользуемся неверионской монетой. И к рульвинам, где бываем все чаще, тоже ее занесли. В конце концов они и между собой начали пользоваться деньгами. Теперь женщины занимаются только внутриплеменной торговлей, а сделки с чужими заключают мужчины – это их почетное право. Три поколения назад такие торги случались не чаще чем раз в год, а то и в пять лет, и это было большое событие для всего племени. Теперь же раз в месяц кто-нибудь из нашей деревни непременно идет к рульвинам, а раз в год малое число рульвинских мужчин в своих пестрых мехах и перьях спускается к нам – вы сами их видели. Деньги поначалу были диковиной, частью почетных торгов с чужаками, и потому рульвины обоего пола сошлись на том, что деньгами, как и охотой, должны владеть мужчины. А там и сами освоились со звонкой монетой.

Деньги, попав в племя, где ранее их не знали, очень скоро подчиняют себе добычу пищи, работы, ремесла: меняют их на свой лад, держатся подальше от неприбыльных занятий и липнут к прибыльным. Все выворачивается наоборот, как надпись, отраженная в зеркале на животе у мальчишки. Деньги вытесняют добычу еды, работы и ремесла как в пространстве, так и во времени: там, где есть деньги, вся троица либо скоро будет, либо недавно была. И сами деньги либо только что пришли откуда-то, либо скоро уйдут, ибо их задача – обмен. Когда деньги пришли к рульвинам, случилось нечто странное. Раньше любая их женщина могла поменять свой товар или умение у другой женщины на то, что ей нужно. Ту, что работала больше и лучше всех, больше и уважали. Теперь эта женщина должна идти к тому, у кого есть деньги – зачастую к мужчине, – менять на них свой товар, а потом менять на деньги то, что ей нужно. Если найти деньги не получается, все ее товары и умения ничего не стоят – как если бы она ничего не имела и не владела никаким мастерством. Раньше уважаемая рульвинская женщина выходила замуж за успешного охотника; потом в их семью приходила как вторая жена другая видная женщина, зачастую подруга первой, потом прибавлялись другие жены. С появлением денег успешный охотник должен сначала накопить их – за мужчину, у которого денег нет, при таком порядке никто не пойдет, – а потом уж искать себе работницу-умелицу, ибо это единственный способ накопить еще больше денег. Женщинам приходится плохо, потому что теперь мужчины *заставляют* их работать, науськивают друг на друга, ставят им в пример, прямо или косвенно, своих жен. Раньше почетное звание охотника возмещало рульвину недостаток власти; с приходом денег это звание стало *признаком* власти – так я помечаю двойной чертой горшок, где храню имбирные корни. Но сделало ли это мужчин счастливыми? Рульвины – сильные, красивые, гордые мужчины и стараются отличиться в своем главном деле – охоте. Но как только они стали заниматься денежными делами – с тем же старанием и ответственностью, иначе гордость бы не позволила, – оказалось вдруг (хотя всю работу по-прежнему делают женщины), что каждый охотник обязан содержать своих жен. Раньше было наоборот – несколько жен кормили своего единственного охотника! Простая задача – обеспечить жен на три недели хорошей едой – стала вдруг гораздо сложнее. А еще одна печальная истина состоит в том, что хороший охотник, как правило, не умеет наживать деньги. Когда я в последний раз ходила поговорить со своими друзьями рульвинами, то увидела, что с приходом денег молодые женщины стали бояться мужчин. Они хотят в мужья хороших охотников, но понимают, что мужья без денег им не нужны.

Раньше у рульвинов всегда было больше неженатых мужчин, чем незамужних женщин, и холостяки чаще всего были не слишком хорошими охотниками. В каждой рульвинской деревне есть мужской дом – хижина вроде той, куда вы учиться ходите. Холостяки собираются там, ночуют, живут кто сколько хочет. Многие из них, связанные дружбой или родством с семьями

женатых, ходили туда поесть, поспать и даже завязывали плотские сношения с кем-то из жен, но чаще держались вместе, поскольку положение в обществе у них было еще ниже, чем у семейных мужчин. Как раз в мужских домах и стали придумывать способы нажить много денег. Очень скоро завидными женихами стали денежные холостяки – они-то могли себе позволить жениться, а хорошие охотники нет. Женщины становятся женами этих новых мужей, привыкших проводить время с другими мужчинами, а не в кругу семьи. Глава семьи – больше не гордый охотник, почитаемый своими работающими женами. Теперь это человек, которому жены, соперничающие между собой, докучают своими дразгмами, а он так и рвется сбежать к друзьям, которые по крайней мере его понимают.

Раньше большие семьи с множеством жен и единственным охотником – порой двумя или тремя при достаточном количестве жен – были гордостью племени. С приходом денег даже мужчины, занимающиеся торговлей или другими денежными делами, не могут себе позволить больше трех-четырех жен, да и женщины боятся идти в слишком большие семьи. Жизнь рульвинов стала совсем не такой, как прежде.

Когда я была там, одна женщина как раз выходила замуж с теми же обрядами, молитвами, цветами и яствами, но глаза ее смотрели совсем иначе, и глаза мужа тоже. Холостяки в мужском доме все так же сплетничают и полируют наконечники копий, но разговоры у них теперь о другом. Охотники все так же поднимаются до рассвета и поют перед хижинами, заклиная удачу, но голоса их звучат совсем по-другому. Женщины все так же сажают репу, плетут корзины, нянчат детей, кормят голубей, расписывают горшки и делают порой передышку, чтобы поговорить. Но и у них голоса стали пронзительнее, и шепчутся они тише, и на лица их легла тень заботы; даже ребятишки, что бегают, смеются и плачут у их колен, как будто замечают перемену в своих матерях, и нет в племени былой радости.

Я впервые поняла всю силу того, о чем вам рассказываю, – и это не деньги, не зеркала, не модели лодок, не чудовища и даже не рассказывание сказок, – когда ко мне приехал мой старый друг, великого ума человек. Мы подружились уже давно, когда я побывала в Невериионе. Он дважды навещал меня здесь, на острове, и к рульвинам в последний раз я ходила с ним. Деньги к нам приходят из Невериона, и люди там пользуются ими не меньше четырех поколений – гораздо дольше, чем мы. В Невериионе, говорят, на них можно купить что угодно, и, как сказал мне мой друг, там на всё смотрят в зависимости от цвета этих монет, хотя это не настоящие цветы, не природные. В холмах мы посетили два племени: в одном пользуются деньгами уже довольно давно, в другом, живущем повыше, еще не привыкли к звонкой монете. И там и сям мы бывали в гостях, играли с детьми, в обоих племенах нам задали пир, в одном мы присутствовали на свадьбе, в другом на похоронах. И знаете что? Мой друг никакой разницы не заметил. По крайней мере, той, которую замечаю я. Когда же я попыталась объяснить ему, какие там произошли перемены, он положил руку мне на плечо и сказал:

«Что мы здесь видим, Венн? Здоровенного ленивого охотника с пятью-шестью женами, которые нянчат детей, собирают и выращивают еду, носят воду, работают по дому. Он, конечно же, пользуется их трудом, и какое мне дело, пользуется ли он при этом деньгами. Мужья нового порядка и сокращение семей – это перемены, происходящие в любом устойчивом обществе, которое хочет выжить. Семьи могут ужиматься и потому, что рульвины берут пример с более преуспевающих моногамных родичей, живущих у моря, и потому, что случилась засуха и репа не уродилась. Нет, девочка моя (не знаю, почему он так меня называет, я на три года старше его), фантазий у тебя не меньше, чем наблюдательности – впрочем, без фантазий и факты трудно осмыслить. Единственная разница, которую я вижу между этими двумя племенами, состоит в том, что имеющие деньги чуть более деятельны и более озабочены. Так и работают деньги, Венн. То, что видишь ты, – всего лишь твоя тоска по твоим девичьим походам в горы, по собственной молодости, по идеализму, который – признай это – есть разновидность невежества».

Венн фыркнула и стукнула палкой по низкой ветке.

– Тоска по прошлому! В свои двадцать два я почти три года прожила у рульвинов. Вошла в семью женщины по имени Йи, большой, грузной, с маленькими зелеными глазками, – остроумнее человека я еще не встречала. Там были еще две младшие жены, Адит и Асия, – они превозносили меня до небес, потому что я научила их прокладывать оросительные каналы через делянки с репой. Чтобы попасть на сход племени, нам приходилось каждый раз перебираться через глубокую трещину. Я предложила построить мост, и мы его построили – из камней, которые скатывали сверху, и из деревьев, которые рубили в лесу. До сих пор стоит. Три года назад, когда его увидел мой друг, сколько было восклицаний насчет туземных умельцев! Стоило, мол, охотникам отложить копья и смыть раскраску... Я не стала его просвещать, не сказала, что всё было немного иначе: стоило кое-кому отложить грабли, поставить ведра с водой и привязать за спину грудных ребят. Не сказала также, что придумка была моя. Те три года были лучшими в моей жизни. Я завела там самых близких друзей. И все же к исходу этого срока я решила, что мне пора уходить. Ужасно скучно тратить каждую минуту только на то, чтобы выжить. Наш охотник, Арквид, был широкоплечий, густобровый, с грудью как рыжий мохнатый коврик. Я хорошо помню, как нас женили – цветы в его волосах, перья и комки желтой глины в моих. На пиру мы ели черепаху и фаршированного гуся – всё это бедняге пришлось добывать накануне, ведь черепашье мясо в жару портится очень быстро; после этого он еще совершал ритуальные песнопения и полночи очищался на ступенях мужского дома, но гордость не позволяла ему показать, как он устал. За тот год он женился уже трижды, несчастный. Когда три года спустя я решила уйти, Йи, Адит и Асия долго меня отговаривали. Они любили меня и нуждались во мне – для первобытного человека это нечто неоспоримое. И я их, конечно, тоже любила... Когда Йи истощила все свое остроумие, мы с Адит отправились на долгую грустную прогулку – посмотреть, хорошо ли горит обжиговая печь ее матери, сложенная из моих кирпичей. По дороге мы с болью в сердце вспоминали всё, что делали вместе, о чем говорили, а ее двухлетняя Келль носилась вокруг и называла каждое растение по три раза. Ради одной этой девчушки я могла бы остаться. Асия тем временем прополола мой огород и молча вручила мне глиняную чашу, которую сама расписала зелеными цветами и птицами: с месяц назад я изобрела зеленую краску, и всё племя теперь только ею и пользовалось. Когда я сказала, что все-таки ухожу, они послали ко мне Арквида.

Он пришел вечером в парадном облачении, надеваемом только по большим праздникам: меховые наплечники, перьевая борода, гультфик из коры (зеленый, к слову), за перевязь на животе тоже перья натканы, на плече кремневое копье, украшенное ракушками и самоцветами. Медленно прошествовал по циновке, красуясь передо мной, – хорош был, сказать нечего! Потом раскрыл нарядную сумку и подал мне черепаху с уже вскрытым панцирем, стянутую плетеной бечевкой.

Он смиренно попросил меня положить черепаху в блюдо из репы, проса, грибов, сердцевины пальм и орехов, которые я парила, резала и толкла целый день. Развязав бечевку и сняв панцирь, я увидела, что он уже выпотрошил тушку и положил внутрь пряные листья. Все это время Йи, Адит и Асия делали что-то снаружи, не отходя далеко.

Изъяснялся Арквид неважно, но охотником был хорошим и относился к деревьям, черепахам, речкам, гусям, газелям, камням как к близкой родне. Он не то чтобы *думал*, как они, – скорее *чувствовал*, понимаете? И женщин он, по-моему, тоже без всяких слов понимал. Пока я раскладывала черепашье мясо на горячих камнях, он сделал самое естественное, чудесное и неумышленное из всего, что возможно: стал играть с моим малышом. Они тыкали друг дружку пальцами и смеялись. Копье откатилось к стене, дребезжа ракушками. За ним последовала борода, гультфик отправился под спальный помост, и оба озорника остались в чем мать родила. Малыш скоро приткнулся к нему и уснул, Арквид же лежал тихо, смотрел на меня и дышал так, будто не с младенцем играл, а победил в охотничьих играх, которые мужчины устраивали

для нашего развлечения наутро после той ночи, когда месяц становится тонким, как ноготок. Потом позвал меня... и это было чудесно и очень грустно; в жизни, где на чувства остается так мало времени, такое редко случается. После любви он положил свою большую лохматую голову мне на живот, плакал и молил меня не уходить. Я тоже плакала, и гладила свои любимые рыжие кудряшки у него на затылке – а на рассвете ушла, – Венн помолчала. – Своего полторагодовалого сынка я оставила у рульвинов. Странно, как быстро мы усваиваем ценности тех, с кем делим еду. Будь у меня дочка, я, глядишь, и осталась бы. Или унесла бы ее с собой. Дочерей рульвины ценят гораздо больше, хотя посторонний вроде моего друга может подумать обратное. С мальчиками отцы носятся, наряжают их как маленьких охотников и немилосердно бранят, если ребенок что-то испортит или запачкает, – я никогда не скрывала, что меня это злит, не боясь показаться чужачкой. А девочки могут делать чуть ли не всё, что хотят. С мальчиков сто раз на дню требуют быть как послушными, так и независимыми, как смиренными, так и храбрыми; понятно, отчего мужчины вырастают такими гордыми и чувствительными, отчего у них так плохо со здравым смыслом, отчего они не понимают, что красиво, а что нет. Мальчиков до шести-семи лет не учат ничему, зато девочек учат, говорят с ними, обращаются как со взрослыми, как только они начинают походить на взрослых людей, то есть месяца в полтора, когда они в первый раз улыбаются. Иногда с ними поступают строже, это так, но любят их из-за этого еще больше. Да... с дочкой всё могло бы выйти иначе. Сына я не видела целых шестнадцать лет – боялась вернуться, думала, что он теперь меня ненавидит. Тогда-то я и отправилась в Неверион и еще дальше, в горы и пустыни за ним. И что же я увидела, поднявшись наконец в горы? – Венн засмеялась. – Красивого юношу, удивительно похожего на отца. Сильного, хорошего охотника, скорого на смех и на слезы, – такого милого, что потонуть впору в его милоте. – Венн тяжело вздохнула, но улыбаться не перестала. – А вот ума у него маловато. Дочка, выросшая в той семье, была бы куда умнее. Он был ужасно рад меня видеть; вся деревня знала, что он сын чужеземки, построившей мост, и это было предметом его величайшей гордости. Келль, дочка Адит, тоже выросла. Я ведь говорила, что изобрела зеленую краску? А Келль показала мне свои – красные, коричневые, пурпурные. Как только мы остались одни, она спросила, не думаю ли я, что ей нужно спуститься к морю; глаза у нее серые, косы черные, лицо в веснушках, и ей любопытно посмотреть на широкий мир – чудесная девушка! Она в самом деле спустилась на время к нам, взяла себе мужа с другого острова, бросила его через два года и вернулась к своим... все это было двадцать лет назад, до того, как деньги пришли к рульвинам. – Палка зашуршала снова в такт шагам Венн. – И после всего этого мой неверионский друг заявляет, что все мои наблюдения – просто тоска по прошлому? Я-то знаю, что порождает мою тоску! Знаю, какие перемены принесли деньги рульвинам. Если не смотреть в зеркало пристально, можно и не заметить разницы между стоящей перед ним вещью и ее отражением. Теперь ты, конечно, спросишь, при чем здесь верфь твоего отца, верно, девочка? Очень даже при чем. – Рука Венн легла на плечо Нореми. – У нас, приморских жителей, тоже не всегда были деньги. Они пришли из Невериона, когда наши родители завели с ним торговлю, и можешь мне поверить: ценности, которых мы придерживаемся теперь, обратны тем, по которым мы жили раньше, хотя внешне они не так уж сильно переменялись. Наше общество устроено совсем по-другому, чем у рульвинов. Здесь, на берегу, между мужчинами и женщинами больше равенства. У женщины один муж, у мужчины одна жена. Если перевернуть такой симметричный знак, он не изменится – не слишком, во всяком разе. Мы, однако, подозреваем, что когда-то всё на свете – корзины, груды фруктов и моллюсков, запах жареных угрей, гусиное яйцо, глиняный горшок, даже взмах удочки и удар каменным топором по стволу – обладало собственной силой. Если старость чему-то и научила меня, так это тому, что знание начинается вот с таких подозрений. Ваши родители платят мне за то, чтобы я вас учила, и это хорошо. Но отцу и дяде Блена и Холи, которые могут сложить каменную стену за один день, тоже платят; платят Крею – силачу, хоть и недоумку, – копающему

канавы для нечистот. Платят твоей, Норема, матери за связку сельди и отцу за лодку, чтобы ловить сельдь самим. Так много времени и ума уходит на то, чтобы вычислить сравнительную стоимость всех этих работ и товаров, но главная беда в том, что все они измеряются в той же монете. Искусная работа, простая работа, обучение, рыба и фрукты, которые нам дарит природа, придумка мастера, сила, вкладываемая женщиной в ее труд. Но нельзя прикладывать ту же самую мерку, чтобы вычислить вес, холод, время и яркость огня.

– Отражение в зеркале похоже на настоящую вещь, – сказал Делл, – и кажется, что оно занимает столько же места, но на самом-то деле оно плоское. За зеркалом нет ничего, кроме моего живота. – Он намотал на кулак одну из трех своих кос. – Если попробуешь запихнуть в зеркало корзину устриц, раковины рассыплются.

– Ты хочешь сказать, что деньги, как и зеркало, всё делают плоским, – добавил Энин, – хотя на первый взгляд отражения кажутся точным подобием настоящих вещей: движутся, когда движутся те, и сохраняют очертания, когда те неподвижны.

– Именно это я и хотела сказать. Твой отец, Норема, ремесленник. Это значит, что его завораживает магия вещей – дерева, камня, глины, металла, кости и мышц – и восхищают перемены, которые может в них внести человек при двойном свете старания и увлеченности. Но в то же время он чувствует, что деньги, которые дают ему за работу, – лишь плоское отражение этой магии. Деньги – зеркало верное: чем больше и лучше он работает, тем больше ему заплатят... но «больше» и «лучше» в отражении сводятся воедино. Мне сдается, что как раз поэтому он весь уходит в работу, – не столько чтобы получить деньги, которые позволяют ему работать еще больше и еще лучше, сколько чтобы от них избавиться; но они окружают со всех сторон, и уйти от них можно только в себя. Вот он и уходит от всего, даже от вас с сестрой и от вашей матери. – Венн со вздохом сняла руку с плеча Норемы.

– Поэтому, – сказал Делл, – тебе нужно учиться у него старанию и увлеченности и прощать, когда он с тобой холоден.

– И еще старым ценностям, – добавил Энин, встав между Венн и Норемой, – прощая растерянность, которую порождают в нем новые.

И оба взглянули на Венн, ища ее одобрения.

– Некоторые мысли, отражаясь в зеркале речи, – сухо сказала та, – делаются совершенно плоскими, теряя всю глубину. Зарождаясь сложными и богатыми, они становятся мелкими, напыщенными, ханжескими. И почему у всех мальчишек на этом острове такие мелкие, напыщенные, самодовольные умишки? Я люблю твоего отца как брата, Норема, но и он страдает от этого не меньше, чем от ситуации, которую мы обсуждаем. Поневоле затоскуешь по молчаливым охотникам. В их случае можно, по крайней мере, вообразить, что мысли у них глубокие... этак на пару лет.

– Венн? – Норема, чувствовавшей себя весьма неуютно, стало легче, когда старуха напустилась на мальчиков, и она решилась вновь обратить ее внимание на себя. – По твоим словам, в обществе вроде нашего или рульвинского деньги – это лишь первое зеркало, первый рассказ о морском чудовище. Что же тогда второе зеркало – то, что не только отражает, но превращает отражение во что-то другое?

– Ага! – Венн с каркающим старушечьим смехом вновь поддела палкой опавшие листья. – Над этим стоит подумать. Что бы это могло быть? Какой способ обмена может отражать деньги и служить им моделью, не будучи при этом деньгами? Возможно, следует попросить людей посчитать, сколько у кого денег, дав каждому листок тростниковой бумаги и кусочек угля, а после собрать у них деньги и поместить их в один большой денежный дом, где те будут использоваться для нужд деревни и сделок с иноземными купцами; расчеты же с людьми своего племени каждый человек будет вести на бумаге: отнял шесть монет на своем листке, добавил другому и так далее. – Венн задумалась.

– Да, понимаю: это исключает посредников. – Делл, вечно мечтавший о невозможном, вполне мог высказать эту мысль в школе через неделю, выдав ее за свою. – Но отражение отражения должно не возвращать ценностям прежний вид, а превращать их в нечто совсем новое!

– А я понимаю, как произойдет превращение. – Энин разбирал все умные мысли по косточкам. – Людям придется доверять друг другу даже больше, чем при простом обмене товарами. Такое доверие и станет, возможно, новой ценностью нашего племени. Допустим, ты хочешь завести свое дело. Тогда ты идешь к разным людям и просишь их списать немного денег тебе на бумагу, а потом действуешь так, будто эти деньги у тебя есть. Венн права: там, где нет ни товаров, ни работы, всегда имеются деньги. У тебя может не быть товаров и работы там, где есть деньги, зато есть такие деньги, которые могут быть всюду сразу и делать много разных вещей. Вот и станет всё по-другому – и кто знает, как далеко это может зайти. Ты просто придумываешь что-то, рассказываешь о своем замысле людям и можешь получить от них достаточно таких новых денег, чтобы сделать всё как задумано. Вместо лодок, что ходят по морю, ты строишь лодки...

– ...которые роют ходы под морским дном и ездят по ним, – подхватил Делл. – Вместо маленьких делянок, где женщины репу разводят, можно сделать одно большое поле...

– ...плавучее поле, где будут работать обученные для этого рыбы – ведь учат же разным штукам собак или попугаев, – вдохновился Энин.

Оба расхохотались и помчались к мосткам на ручье, куда как раз подходил на лодке двоюродный брат Делла, Февин, – волосатый и с рыжиной в бороде, говорящей о предках-рульвинах. Нос лодки врезался в солнечный зайчик, брошенный на воду чьим-то зеркальцем, и в глазах у Норема заплескались черные жемчужины.

– Из этого может выйти еще и не то.

Норема оглянулась на старуху, ворошашую листья.

– Лодки, бороздящие дно, и плавучие поля репы – это еще пустяки. Могут быть вещи куда чуднее. Твой отец, пожалуй, правильно делает, работая по старинке и сторонясь всяких таких чудес.

Норема прыснула.

Мальчишки помогали Февину разгружать лодку, но девочка, сама не зная почему, осталась на месте. Вчера она бежала к мосткам наперегонки с ними и завтра, возможно, опять побежит.

Когда у отца в делах случался застой, Февин выходил с Куэмой на лов – недалеко, на ближние банки. Когда же дела шли бойко, он работал на верфи плотником; Снар охотно взял бы его на постоянную работу, но Февин не хотел бросать море. Норема, как почти все дети из их деревни, плавала на его лодке не меньше дюжины раз.

Лодка раскачивалась над своим трепещущим отражением, зеркала на животах мальчишек сверкали, порождая вспышки в воде. Венн направилась дальше, Норема пошла за ней.

Устье вливалось в море, деревья остались позади, причалы попадались все чаще. Шагая по теням мачт на гальке, Норема сказала:

– Венн, а можно еще пример? Про мужчин и про женщин? Допустим, кто-то захотел создать идеального человека – образец для всех остальных. Первыми сотворили мужчин, и все достоинства первоначального человека отразились в них наоборот, словно в зеркале. Мужчины все жадные, мелочные, драчливые. Потом создали женщин, и они, как отражение отражения, стали чем-то совсем иным.

– Кто это «они»?

– Да женщины же!

– Не «они», девочка. Мы.

– Ну да, конечно. Возможно, правда, что женщин... нас... сотворили первыми, и мы отразили наоборот достоинства первой модели. А мужчины после нас превратили эти достоинства во что-то другое. – Норема нахмурилась – эта последняя мысль порядком ее пугала.

Венн, шурша посохом по гальке, замедлила шаг и остановилась совсем.

– В жизни ничего страшнее не слышала, – сказала она и зашагала так быстро, что пораженной Нореме пришлось догонять ее, и хорошо: это не дало изумлению перерасти в обиду. – Мои наблюдения – то, что из них вытекает, – объясняют, почему всё происходит именно так. Делают всё более ясным. Твоя мысль вытекает не из наблюдений, а из целого ряда домыслов, которые позволяют видеть то, чего нет. Допустим, что отражение твоего идеального человека – это люди с зелеными глазами, а сероглазые – это отражение отражения с совершенно иным смыслом. Охотники, если так рассуждать, станут противоположностью рыбаков, толстые – противоположностью тощих. Подумай, насколько чудовищно... – Венн помолчала, остановилась, вздохнула. – Вот в чем загвоздка каждой великой мысли – а то, о чем мы говорили, есть великая мысль. Она освещает то, что прежде таилось во мраке, но, будучи неверно приложенной, порождает искажения, чей ужас не уступает ее величию. И то, что мысль мы можем выразить только через примеры, тоже делу не помогает. Где он, твой идеал, девочка? В каких облаках витает? Я начинаю с вполне материальных вещей: обмен, слова на тростниковой бумаге, случай в море – а потом рассуждаю, что со всем этим случается посредством нескольких отражений. Ты начинаешь с вымысла, с идеального человека, представляющего собой итог подлинных и вымышленных действий настоящих и вымышленных людей, и пытаешься представить людей как итог этого идеала. Дай-ка я расскажу тебе еще одну историю из тех времен, когда я жила у рульвинов. Тебе непременно надо ее послушать.

2

Нет смысла возвращаться ко всему этому, если это не проливает свет на то, о чем Фрейд умалчивает.

Жак Лакан¹⁰. Желание и интерпретация желания в «Гамлете»

– Я была с детьми дома и стряпала. Шел теплый дождь. Йи, Адит и Асия укрывали шкурами наши огородные орудия, Арквид сидел рядом со мной на скамейке и вырезал из дерева блюдечко. Двухлетняя Келль учила моего мальчика, который только-только начал ходить, справлять нужду в желоб у стенки, выходящий наружу. Потрогает себя между ног, скажет «горги», возьмет его за писушку и повторит «горги». Он делает то же самое и смеется. Потом она становится перед желобком и писает. Она уже знает, что ей, как девочке, нужно присесть, но надо же показать брату, как это делается. Он, правда, устроен не так умно, как она, и должен помогать себе руками, чтоб не брызгать по сторонам. Мальчик, конечно, подражает старшей сестре, но у него просто так не лется вперед – поди сообрази, что в руку взять надо. Тут сметливая Келль подбегает к отцу, хватает его за член и кричит радостно: «Горги!» Малыш, само собой, бежит за ней и делает то же самое. Арквид мой был человек терпеливый. Посмеялся и говорит: «Если вы вдвоем этак ухватитесь, он у меня вскочит, как поутру». Я похлебку помешиваю и тоже смеюсь. Тут Келль отпустила отца и ко мне, а я как раз фартук надеваю, и говорит: «Нету горги» – в ту пору она всегда говорила это, видя, как взрослые закрывают причинное место фартуком или гульфиком. А мальчонка, конечно же, за ней хвостиком.

«Иди-ка сюда, сынок, – сказал тут Арквид, закончив свою работу, – я тебе дам кое-что».

«Нету горги». – Малыш помахал ручкой моему фартуку и побежал к отцу.

¹⁰ Жак Лакан (1901–1981) – французский философ-психоаналитик.

«Вот тебе блюдечко». – Арквид продел в дырки ремешки и привязал его к животу сынишки. Наши мальчишки носят там свои зеркальца – думаю, это отголосок того же обычая, который неведомо как пришел с гор к нам на берег. Ты видела такие блюда у мужчин-горцев, что приходят в деревню: все рульвинские отцы дарят их своим маленьким сыновьям. Они считаются сильным охотничьим амулетом, и для девочек их не делают. Девочки даже трогать их не должны, а ту сторону, что к животу прилегает, им нельзя видеть. Рульвины, однако, народ не только гордый, но и весьма здравомыслящий – запретов придерживаются разве что в самых старых и строгих семьях. Мать может отцепить блюдо, чтобы помыть сынишку, но мальчиков первым делом учат самим мыть животик под ним. О блюдах не принято говорить в обществе; в рульвинском языке, особенно между мужчинами, много иносказательных слов, обозначающих их, но все они считаются не совсем приличными. А дома на это, как и на все табу, смотрят, конечно, проще. Особенно в нашей вольнодумной семье – я бы ни за что не вошла в нее, если б там придирчиво соблюдали старые правила.

Ну так вот: Арквид привязывает блюдо к животу мальчика, а Келль бежит посмотреть, что он такое делает. Отец загораживается коленом и говорит ласково: «Нет-нет, тебе сюда нельзя, девонька. – Она пытается обойти колено. – Нет», – повторяет Арквид построже и поворачивает мальчика к ней спиной.

Тут Келль, как любой двухлетний ребенок, которому не дают орех, палочку, камешек или ракушку, поднимает рев и дергает его за коленку.

«Ну, полно, – говорит уже недовольно Арквид. – Зря я делаю это дома... забери ее, Венн, она норовит потрогать его...» – Тут он засмеялся и назвал священный предмет самым детским из иносказательных слов.

Я взяла Келль на руки, но она выла в голос и все так же рвалась потрогать кругляшок на животе брата или хоть посмотреть на него вблизи. Арквид терпеливо загораживал от нее мальчика, а когда я теряла терпение, говорил: «Оно бы и ничего, но что, если она на людях это сделает?» В конце концов Келль усмотрела сходство между братниным блюдцем и таким же на животе у отца, на которое до сих пор не обращала внимания, – и долго, в полной растерянности, переводила взгляд с одного на другое. Посмотрела-посмотрела и нашла выход: приложила к животу глиняную горшечную крышку и стала расхаживать с ней, сердито поглядывая на меня и отца. Мальчик, насладившись сознанием, что у него есть то, чего нет у сестры, хотел теперь поиграть с ней, но Келль не желала. Арквид, стоя в дверях, потербил свой член – рульвины это делают, когда волнуются – и сказал: «Надеюсь, вы, женщины, не допустите, чтобы это вошло у нее в привычку». Для рульвинов любого пола девочка с блюдцем на животе – нечто невыносимое, а если девочка притворяется, что носит его, это граничит с непристойностью. Все, однако, знают, хотя и не говорят, что дарение блюдца мальчикам часто вызывает такие вот приступы враждебности у девочек; это длится порой месяцами, и взрослым стоит большого труда не подпускать девочку к амулету, внушая ей уважение к нему, – иначе он утратит свою волшебную силу. То, как следует дарить амулет в семьях, где есть девочки, – буднично, как сделал Арквид, или торжественно, в присутствии всего клана, где матери держат маленьких дочерей на руках, или в лесу, где отец с сыном будут наедине, – служит главным предметом обсуждения как на крыльце мужского дома, так и на грядках с репой. Келль, сколько я помню, злилась пару недель, пока ее не отвлекло еще что-то. Как-то вечером мы собирались на новоселье: новая молодая семья только что построила себе дом напротив нашего. Арквид, уже накормленный, сидел на корточках у очага, а мы, женщины, сели поесть сами.

«Я много думал, – сказал он назидательно (мужчины всегда говорят так, обращаясь ко всем своим женам вместе), – и понял, отчего женщины ведут себя совсем не так, как мужчины».

Адит в это время передавала Йи репу, а я брала ячмень из чашки, поданной Адит.

«Ты еще не наелся? – спросила Йи. – Я начинила листья фавы орехами в масле – возьми их в мужской дом и поешь, пока наряжаешься к празднику».

«Вот об этом и речь, – сказал Арквид. – Я делюсь с вами умными мыслями, а у вас на уме только еда, постройка домов да огородничество. Повторю еще раз: я понял, отчего женщины ведут себя иначе, чем мужчины. Все дело в блюдах».

Вот что странно: если мужчина или юноша придет к кому-то в гости без блюда, всем будет крайне неловко, однако говорить о блюдах не принято, особенно за обедом. Но Арквид был нашим мужем и охотником.

«Моя мысль такова: девочка видит, что у ее отца и брата есть блюда, а у нее нет – и завидует. – Арквид говорил плавно, показывая, что в самом деле долго об этом думал. – Это понятно, ибо блюдо наделяется волшебной силой, и без него мужчина вряд ли убьет дикую козу, горного кота или скальную черепаху. Через неделю или через год девочка, казалось бы, забывает о своей зависти – но я думаю, что зависть остается при ней. Я думаю, что она изгоняет зависть в темное место за стенами памяти, где изгнанные мысли и чувства гложут друг друга всю жизнь молча, не называя имен. Я думаю, что женщина потому и хочет детей, что ребенок подобен блюдечку, растущему в ней, и особенно счастлива, если рождается мальчик; она знает, что отец скоро подарит ему блюдечку, – а значит, и ей, пока сын еще остается младенцем. Я думаю, что женщины, недостаточно уважающие своих охотников, что приносят мясо вдобавок к их ямсу, просу, репе, абрикосам и пальмовой сердцевине, страдают от такой зависти больше других, хотя и не сознают этого». – Арквид закончил и скрестил руки, очень довольный собой.

Через некоторое время Йи в самой уважительной форме произнесла:

«О величайший из охотников, я скажу как женщина, бывшая когда-то маленькой девочкой, что твоя мысль немного расходится с моим опытом».

«Не забывай, – тут же ответил Арквид, – что всё это происходит в темных местах за стенами памяти. Потому ты и не чувствуешь зависти. Но нельзя отрицать – об этом все знают, хотя и не говорят, – что девочки всегда завидуют силе и волшебству отцовских и братниных блюдец. Мы видели это своими глазами в нашем собственном доме».

Я ждала, когда выскажется Асия, но она промолчала, и мне сделалось неудобно.

«Арквид, – сказала я, – ничего смешнее я еще не слыхала. Если бы ты носился со своим горги, – он опять его теребил, – так, как носишься с блюдцем, девочки бы завидовали ему!»

«Смешно как раз то, что говоришь ты, – возразил он. – Зачем девочке завидовать горги своего брата, когда у нее есть свое, еще лучше? Твои слова, понимаешь ты это или нет, есть лишь глубоко запрятанная зависть к блюдцу, сохранившаяся со времен твоего раннего детства». – Он отпустил свой член и опять сложил руки на груди, гордясь собой.

«Арквид, – сказала я, – я этих блюдец в глаза не видала, пока не пришла сюда в горы два года назад».

«Значит, ты о них слышала. Притом я говорю не о самом блюде, а о силе и магии, которые оно воплощает. Блюде – не просто деревянный кружок. Это знак отличия, знак разницы. Ну же, Венн, – он никогда не соглашался с моей иноземной ересью, – признай, что если даже моя мысль не совсем верна – хотя я уверен в обратном, – то очень красива».

«Когда я строила мост, все рульвины нашли рычаги, которые я им показала, очень красивыми, и они в самом деле таковы. После этого здесь поднялся высокий вал «красивых» мыслей, которые, увы, не привели ни к чему».

«Кроме того, – сказал Арквид, думая, несомненно, о прежних моих словах, – в этом племени девочки не завидуют мальчишечьим горги, а мальчики – девочкиным. Любопытство – еще не зависть. Девочки завидуют только блюдам, и это правда, красива моя мысль или нет».

В своей семье я всегда настаивала на важности правды, то есть того, что происходит на самом деле.

«Арквид, – сказала Йи, знавшая, как умаслить охотника, – ты силен и красив. У тебя четыре жены, владеющих пусть не самым большим, зато лучше всех орошаемым репным полем. Твои дочери вырастут сильными и умными, сыновья – храбрыми и красивыми. Тем,

что ты добыл на этой неделе, можно прокормить вдвое больше жен. Асия зажарила ногу козы, убитой тобою позавчера; она отнесет ее на праздник, и все будут смотреть на тебя с восхищением. Не забивай свою красивую голову женскими заботами. Улыбнись нам, ступай в мужской дом и нарядись в честь соседского новоселья».

У самой двери Арквид обернулся к нам и от души засмеялся – раньше так смеялись все рульвинские мужчины, когда женщины им перечили, но с появлением денег смех из веселого стал презрительным. Засмеялся и пошел в мужской дом.

«Не огорчайся, – сказала мне Адит. – Тебе должно быть лестно, что у него зарождаются подобные мысли. Не ты ли первая рассказала нам о темных местах за стенами памяти, откуда исходят истории и числа?»

Откуда у тебя берутся эти безумные мысли, спросила меня одна из них всего неделю назад. Что я могла сказать? Этот вопрос подразумевал, почему не все способны придумывать истории и считать, – а рульвины настойчивы. В темных глубинах у некоторых людей таятся вещи, не имеющие имени, объяснила я. В этом была... не знаю... своеобразная красота.

«Тебя слишком уж огорчает то, что болтают охотники». – Адит, искоса взглянув на меня, протянула мне глиняную чашу, сработанную матерью Асии. Янтарный тамариндовый сок в ней еще колебался после того, как из нее отпила Йи. Я пригубила и сказала:

«Пойми же, Адит. Все эти рассуждения о зависти к блюдам проистекают из того, что сам Арквид их ставит превыше всего на свете. Сейчас я расскажу вам, что случилось здесь у нас, когда вас не было дома».

Они посмеялись, выслушав мой рассказ, а Йи сказала:

«Согласись все же, что загородиться от девчушки коленом или повернуть к ней мальчика задом – это еще ничего. В этом племени есть мужчины, что и впрямь носят с блюдечками, как со своими горги – притом так, точно их лягнул в горги горный козел!»

«И – воздадим справедливость нашему достойному мужу – есть у нас женщины, ведущие себя так, будто готовы сорвать со своего охотника блюдо, – добавила Асия, стряхнув с губ ячменные хлопья. – Разве ты захотела бы лечь с мужем без него? Признайся, чудно было бы!» – И все три снова прыснули со смеху.

«Вот что я вам скажу, – промолвила тогда Адит, играя с фруктовой кожурой. – Вы нечестно поступаете с новой женой нашего достойного мужа. – Она бросила шкурку к другим очисткам. – За его мыслью стоит гораздо больше, чем вы хотите представить, и вы это знаете».

Две других жены внезапно притихли, а Адит, пристально глядя на меня, продолжала:

«Задолго до твоего прихода в нашем племени случилось ужасное, Венн. Мы не забываем об этом, даже когда смеемся и шутим. И Арквид тоже, скорей всего, думал об этом, когда у него родилась эта мысль. Случилось, что великий охотник Маллик лишился разума. Произошло это не сразу. Сначала он перестал приносить домой мясо и съедал свою добычу сырой в лесу, а несъеденное обгаживал и оставлял гнить. Не спал ни с одной из шести своих жен, а потом стал приносить в охотничьей сумке песок и осыпать им их грядки с репой. Уходил по ночам из дома и разорял грядки соседских женщин, отчего его женам приходилось сажать всё заново, – словом, всячески им вредил. Есть много историй о том, что творилось в этой несчастной семье. Однажды в припадке ярости он забил старшего сына до смерти, а дочке переломил руку граблями. Как только он не срамил своих жен! Ходил по деревне с блюдцем, что болталось внутренней стороной наружу, будто малыш, чья мать плохо завязала тесемки, помыв его. Отказывался наряжаться в мужском доме на праздник и убегал в лес, а дней через пять возвращался голодный и бредил, будто святая старица, только ничего святого в его речах не было. А уж что жены претерпевали от него дома, человеку в здравом уме нельзя и вообразить. Он бросал в горшки с варевом ядовитые травы и веселился, когда его жен и детей рвало. Потом и до побоев дошло – я ведь говорила уже, что он убил сына? И вот как-то ночью жены, сами уже наполовину безумные, позвали на помощь мать и тетку Маллика и все вместе убили

его во сне. Отрезали ему руки, ступни и горги и закопали все это в огороде старшей жены, по четырем углам и в середине. Потом... – Адит отвела глаза, – потом они разломали его блюдо, обмакнули обломки в кровь и развесили на притолоке. Потом перерезали горло детям и, наконец, себе. Утром их всех нашли мертвыми. Двенадцатилетний Арквид, Венн, пришел к дому брата своей матери и увидел висящие в дверях кровавые куски дерева, а после вошел...»

Тут Адит остановилась, видя мое лицо. Мне снова напомнили, как их мало, моих рульвинов, как быстро они взрослеют, как рано женятся и как рано умирают; напомнили, что все они друг другу сродни и что «задолго» может означать и тридцать лет, и три года. Если семнадцатилетняя жена с ребенком у ног рассказывает тебе о чем-то из жизни своей прабабки, это могло происходить всего лет шесть назад, когда ее пятидесятилетняя прабабка была еще жива. За нашими повседневными делами я слышала, как семилетняя Асия, заблудившись в лесу, три ночи спала рядом с молочной козой; как Йи в десять лет стащила большой горшок с медом и была бита за это так, что три дня ходить не могла; как Асия убегала из дома в лунные ночи, чтобы посидеть у ручья, и еще много разного. Из-за всех этих женских историй как-то забывалось, что достойные охотники тоже были детьми и что в их детстве тоже случались какие-то памятные события.

«Видишь ли, – снова заговорила Адит, – что-то и впрямь происходит в тех местах за стенами памяти, о которых ты говоришь так легко. Блюдо всегда связывают со смертью – ведь это она позволяет охотникам убивать коз, черепах и гусей. В тот день кровавые куски, висящие на оскверненной двери, говорили, что всех в этом доме постигла смерть. – Она взяла меня за руку и склонила голову набок. – И если наш достойный охотник нашел способ связать блюдо с жизнью, уподобив его ребенку у меня в животе, то я нахожу в этом красоту. – И Асия улыбнулась – одной себе и в то же время всем вокруг; я всегда завидовала рульвинкам, умевшим так улыбаться, и мне всегда не доставало этого умения у наших приморских женщин. – Мое репное поле орошается лучше всех в деревне, так пусть себе наш охотник мыслит обо всем, что ему желательно».

«Да, – сказала я и тоже взяла Адит за руку. Я чувствовала, что она сильнее меня, и мне хотелось держаться за того, кто сильнее, пока я говорю. – В этом есть красота. Арквид хороший охотник и хороший человек. Я очень его люблю, но мысль его все-таки ложная. История Маллика страшна, но она скорее подтверждает то, что мужчины слишком много значения придают своим блюдам, чем то, что женщины им завидуют. Вас, жен нашего достойного охотника, я люблю больше, чем сестер, – но невежество есть невежество, кто бы его ни выказывал, будь это даже наш охотник. Я предала бы свою любовь к вам и уронила его честь, если б говорила иначе». – Я держалась с Адит за руки и боялась, что сейчас она вырвет руку и ударит меня, – ибо рульвинки горды и никому не позволяют бесчестить своих охотников.

Но тут Йи засмеялась и сказала, отодвинув чашу с тамариндовым соком:

«Мы поступаем дурно, рассуждая в такой вечер о вещах столь важных, как Маллик и блюдо. Близится навин, женщины! И мы нипочем не успеем нарядиться к пятому зову тыквы, если не поторопимся».

«Хорошо», – сказала я. Адит отпустила мою руку, а я ее. Мы убрали посуду, убрали пальмовые листья, служившие нам тарелками, и привели всё в порядок, насколько возможен он там, где работа не переводится никогда. Но они, думаю, уже почувствовали тогда, что я уже не так довольна жизнью у них, как в начале.

Венн вздохнула.

– Да, невежество есть невежество – его хватает и здесь, у моря, и в горах у рульвинов. Но здесь жизнь легче; я могу проводить каждое утро с вами, детьми, убирая хотя бы малую долю невежества, и кормиться тем, что мне дают за это ваши родители – а у рульвинов моим уделом были только репа, мосты, краски, горшки да младенцы. Поэтому я предпочитаю жить здесь. Но мысль Арквида в некотором смысле очень сходна с твоей, Норема. Не хочу сказать, что они

обе ложные, но они схожи в том, что стремятся к правде, и путают правду с ее подобием, и проводят между ними линии, которые пересечься никак не могут. – Венн поразмыслила, продолжая идти. – Хотела бы я знать, возникают ли у рульвинских мужчин такие мысли теперь, когда к ним пришли деньги и власть переменилась. Если женщина перечит мужчине в настоящее время, смеяться пристало ей. И женщины смеются – но украдкой, смущенно и виновато. Открытый и душевный смех их покинул.

– Венн, а что такое навин? – спросила Норема.

– Ах да... навин. Это праздник, который устраивают, когда происходит нечто мало-мальски значительное: девушка собирает свой первый урожай репы, юноша убивает первого дикого гуся, достраивается дом, желтый олень забредает в деревню или в лесу находят медовое дерево. Тогда мужчины заправляют свои горги в дыни-калабасы, втыкают вокруг сухую траву, как будто у них отросли громадные женские горги, надевают женские передники и головные уборы и берут в руки поломанные старые грабли. А женщины подвязывают между ног тыквенные бутылки с двумя волосатыми орехами позади, натягивают на тыкву старые, лопнувшие мужские гильфики, раскрашивают себя как охотники, цепляют на подбородок перья, на плечи мех, берут в руки поломанные копья; старухи же – молодым это возбраняется – привязывают к животам горелые круглые деревяшки наподобие блюдец. Когда пять раз протрубят в священную тыкву – на второй или третий раз все подбегает к дверям и ждут, – народ высыпает на площадь, и начинаются пляски. Ветки взметают пыль. Дяди становятся на четвереньки и трутся головами о колени племянниц. Пылают костры, гремят барабаны, трещат погремушки. Поются шуточные песни про жен, которые не хотят готовить своим мужьям, отчего те будто бы умирают с голоду, и про неверных мужей – под этот напев танцоры носятся по деревне, как горные волки. Дети, проснувшись от шума, с визгом бегают вокруг ряженных, а потом устраивается пир. Можно подумать, что веселее праздника не бывает на свете.

Венн не смеялась, рассказывая об этом, однако Норема ей верила.

– Это как отражение...

– ...отражения, – закончила Венн. – Ценности меняются местами, и создаются новые ценности, что племени только на пользу. Хорошо бы завести такой обычай и у нас тут. Вот что, девочка. – Рука Венн снова легла на плечо Норема. – Подумай как следует о том, что я говорила про отражения, а ты – про мужчин и женщин. Подумай, и ты поймешь, что это совсем не одно и то же. Вдумывайся в мою мысль, пока не увидишь, в чем ошибалась – и, может быть, поймешь заодно, в чем ошибалась я. И если по размышлению сможешь мне что-то сказать, я буду очень тебе благодарна. Ну как, согласна? – Мозолистая рука сильнее сжала плечо. – Согласна?

– Да... хорошо, – сказала Норема, любившая чудеса и видевшая немало чудес от этой старухи. Знать бы еще, как за это взяться. Задумавшись, она не сразу увидела, что Венн, с которой она бы охотно поговорила еще, отошла уже далеко.

На одной из лодок старый моряк с крапчатой лысиной увлеченно, со смехом, рассказывал что-то молодому, а тот скреб бортовые поручни и не слушал его. Может, и у нее с Венн всё происходит так же? У причальной тумбы храпела Безумная Марга в обтрепанной мужской куртке – руки и ноги в язвах, тело выпирает через дыры в лохмотьях, к подбородку что-то присохло. Не есть ли это образ пытливого Нореминого ума? Или навина? Или всех женщин? Или всех женщин и всех мужчин? Как узнать, так ли это?

Где-то стучал – чанг-чанг-чанг – новый стальной молоток, привезенный из Невериона. Мать находила их отвратительными, отец – занятыми. Какое родство между деревянным молотком, которым Большой Инек забивает колышки, настилая палубу на родительской верфи, и этим железным орудием, что скрепляет дерево с помощью железных гвоздей – лишь бы не на воде это делалось?

И, что еще важнее, как выразить это словами? И какое будет родство между любым способом, выбранным ею, и тем путем, которым Венн пришла к своему не поддающемуся словам принципу?

Норема бесцельно бродила по верфи около часу. Лишь когда Инек сделал ей замечание, она, больше для виду, принялась варить клей. Вот хотя бы это: настоящая работа и работа для вида – может, их привести в пример? А потом что? Но кое-какие мысли у нее уже брезжили. Вечером Норема взяла листок тростниковой бумаги с чертежом наполовину законченной лодки; ее каркас поддерживали бревна, где после долгих лет службы еще кое-где сохранилась кора. Норема, стоя на одной ноге, долго рассматривала чертеж. Потом забралась на лодку и долго лазила между ребрами со следами тесла, похожими на рыбы чешуйки. Она не столько искала сходство между чертежом и деревянным каркасом, сколько пыталась увидеть то и другое само по себе и найти, в чем разница.

После этого, взяв чистый листок, Норема обмакнула стило в рожок с ягодным соком (то и другое она носила на шее) и стала набрасывать новый чертеж.

Рано поутру она пришла в кладовую. Солнце уже пригревало, в тростниковой крыше гудели насекомые. Побродив среди горшочков с краской, зеркал, трафаретов, накладных украшений, Норема отправилась в лес. Она рассматривала живые и опавшие листья, замечала, как разбегаются бледные прожилки по зеленой или бурой и хрупкой ткани, смотрела на сетку ветвей и окружающую их зелень. В уме складывались самые разные понятия: образ, модель, пример, выражение, описание, символ, отражение. Она вспоминала, что сказала ей Венн вчера, перед тем как расстаться. Вернувшись на верфь, она рассказала маленькой Йори сочиненную на ходу сказку. Девчушка слушала как замороженная, загребая опилки босыми ножками, крутя в руках стебель выюнка; ее светлые кудряшки походили на охапку сосновых стружек. Норема попросила ее рассказать эту сказку Большому Инеку, а Инека – пересказать снова. Тот бубнил, загоня попутно колышки в доски. Нореме вспомнились старый и молодой моряки, виденные вчера, и она осознала – не в виде двух связанных мыслей, а как одну мысль, которую нельзя выразить словами как нечто единое: любую ситуацию можно *использовать* как образ любой другой, но ни одна вещь не может *быть* образом другой – особенно вещи столь сложные, как два человека. Использование их в таком качестве есть оскорбление для них и самообман для тебя. Именно совокупность вещей и способность их (особенно людей) быть отдельными и неповторимыми порождает всё разнообразие образов.

Норема так погрузилась в свои размышления, что из следующего урока Венн вынесла только солнечный квадрат, падающий из люка на крыше на коричневое плечо сидевшей впереди девочки, да шуршание палки Венн в соломе, устилающей пол.

Домашние трапезы, за которыми она излагала идеи Венн об отцовской работе и о деньгах, делающих родителей столь разными, ничего хорошего не сулили. Отец хмуро смотрел на нее через стол, уставленный глиняной и медной посудой. Женщина, помогавшая матери по хозяйству, цокала языком и говорила, что Норема, видно, голову забыла надеть, когда встала утром. Йори смеялась, Куэма спрашивала – столько раз, что отец попросил ее перестать, – что с дочкой такое. Их слова воплощали собой ошибочность суждений и непонимание, суп был морем, хлеб – плавучим островом. Яблочные блинчики напоминали о яблоневои саде или воровстве яблок с ватагой других детей. Каждое ощущение вело к бесконечным воспоминаниям о других. Каждый образ можно было поместить рядом с любым другим, и сходство между ними становилось отдельным образом, который тоже помещался рядом с любым другим.

У моря Норема смотрела на сети и на деревья. Смотрела на мужчин и женщин с мозолистыми руками и повязанными тряпьем головами, что работали на своих лодках. Смотрела на рыбу чешую, птичьи перья, на кусок лодочной обшивки, прибитый к берегу. На четырех человек, идущих с полными корзинами рыбы за спиной по песку, который обувал их в шелковистые башмаки. Корзины плелись из прутьев. Норема рисовала на бумаге кривую песка и кри-

вую воды. Из прибрежной рощицы слышался детский плач – это хныкала во сне Марга. Чайка над морем кричала, как безумная женщина, ребенок в доме у гавани плакал очень похоже на чайку.

Стоя в косом солнечном луче под окном этого дома, Норема вдруг вспомнила прогулку вдоль ручья, когда Венн впервые высказала мысль, над которой она работала все эти дни. Вспомнила свою нелепую попытку примера – он, составленный из неверных частей, превращал первоначальную мысль в смехотворно глупую; а смешное, как она теперь видела, легко могло перейти в опасное, ужасное, разрушительное, смотря как широко его применять. Мысль Венн – одно (ребенок перестал плакать), а то, что Норема из нее сделала, совершенно другое...

В голове что-то щелкнуло, и все тело охватило не то холодом, не то жаром. Норема поморгала, глядя на пылинки в луче и не понимая, что с ней такое случилось. Выбившаяся из рукава нитка щекотала руку, завязка башмака давила на щиколотку, ноздри втягивали воздух, уголки глаз увлажнились.

Это новая мысль, вот что, подумала Норема и тут же поняла: эти слова пришли к ней так легко потому, что она уже несколько дней облекала мысли в слова. И стряхнула их, чтобы получше рассмотреть саму мысль.

Та была столь же невыразима, как и мысль Венн, много образов назад бывшая ее содержанием. Норема открыла рот; быстро сохнувший язык пробовал оттенки воздуха, характеризующие не воздух, а сам язык. Слова ушли, оставив лишь связи, установленные ими между чувством и смыслом; эти связи словами не были, но создали их – не покидая тростниковой бумаги восприятия Норемы – слова. Благодаря им полоска песка между домами и полоска неба между их крышами отражали друг друга; жужжание осы в ее хрупком сером гнезде напоминало шелест воды у корней прибрежных деревьев, но песок, листья, ветер, волны и осы при этом не утрачивали своей подлинности...

Какое замечательное и совершенно бесполезное знание. Так думала Норема, сознавая при этом, что все радости, испытанные ей прежде, были лишь частью далекой тусклой картины, которая теперь, прояснившись, не допускала веселья – от нее даже дышать было трудно, где уж там восторгаться. Слова, которые она больше не могла отгонять, вернулись на место, и она ощутила, что мир образов непроницаем, целостен и закрыт (вес и значение ему придает неверность этого для примеров, образцов, символов, моделей, выражений, причин, описаний и прочего, однако всё и вся может быть образом всего и вся – истина образом лжи, воображаемое действительного, полезное бесполезного, целебное вредного), и это наделяет особой силой особые виды образов, обозначаемых другими словами; что лишь крепкая связь между ними позволяет их различать.

Но узнала она, конечно, не это... это было лишь описанием, еще одним образом. Венн, конечно, была права: выразить это словами значит сделать почти весь смысл обратным первоначальному. Выразить это словами значит назвать это управляемым, а узнала она как раз то, что это неуправляемо.

Внимание Норемы привлекла вспышка. По боковой улице шел Февин с неводом на плече; конец сети волочился по земле, а Йори и двое мальчишек бежали следом, стараясь на него наступить. То, что сверкало на солнце, было зеркальцем на животе мальчика – нет, не мальчика, а Лари, подружки Йори. Норема улыбнулась, думая о мужских блюдах, рульвинах, зеркалах и моделях.

– Слыхала, что приключилось со старой Венн? – крикнул ей Февин.

– Что? – встревожилась она.

– Пошла ночью в лес да и упала с дерева... бедро себе потянула. Ребята увидели, как она по болоту плетется, и вот только утром домой ее привели.

– И как она? – спросила Норема.

– Да неважно. Легко ли в семьдесят лет бедро себе повредить, а калекой она стала еще в тридцать пять.

Норема пустилась бежать.

– Пошли прочь, малявки! – гаркнул Февин у нее за спиной. – Порвете мне сеть – ноги повыдергиваю!

Норема бежала по солнцу, по тени, по ракушкам. Взлетела через три ступеньки, держась за перила, по деревянной, усыпанной листьями лестнице. Ветер раскачивал ветки над самой ее головой, корни змеились по земле наверху. Она перебежала ручей по камням, которые сама помогала укладывать, вскарабкалась на скользкий берег, пронеслась через хлещущую по ногам траву до тропки (утес слева, большой дуб справа) – и вот она, школа.

Перед ней стоял Делл, разглядывая какую-то птицу в листве.

– Как она? – спросила Норема.

– Да ничего, – ответил он, по-прежнему глядя вверх. – Про тебя спрашивала.

Норема вбежала в хижину. Тростник, долго палимый солнцем и поливаемый дождями, почти перестает пахнуть, но его запах примешивается ко всем остальным, усиливая одни и заглушая другие – в деревянных и каменных домах так не пахнет. На полках вдоль одной из стен лежали камешки, чьи-то скелетики, засушенные бабочки, свитки тростниковой бумаги, перевязанные плющом. У другой валялись камни для стряпни и деревянные загородки для дыма (Венн возилась с ними уже год, но так и не придумала ничего лучше обычного кухонного очага.) В золе торчала обугленная картофелина.

Кровать пододвинули к столу вместо того, чтобы сделать наоборот (очень похоже на Венн). С потолка свисали три витые железные лампы, рядом болтались цепи для третьей. Стол загромождали листки бумаги, медные линейки, компасы, циркули, астролябии и футляр вроде тех, где отец Нореми держал чертежи. Венн сидела на кровати, обратив к двери голую спину с торчащими позвонками и тугими мышцами – все еще крепкую спину морячки, мотыжницы грядок, строительницы мостов; только сморщенная кожа на плечах выдавала возраст.

– Я слышала... – сказала Норема.

Венн медленно (из-за боли?) повернулась на меховой постели и сказала с усмешкой:

– А я все жду, когда ж ты придешь.

И обе женщины, старая и юная, рассмеялись – на разных тонах, но с тем же нескрываемым облегчением.

– Мальчишки мне сильно помогали с утра, ничего не скажешь – да вот беда, не люблю я мальчишек. Очень уж много сил прикладываешь, чтоб быть терпеливой с ними, а потом терпение лопается, и выставляешь их вон. Ты-то где пропадала? Не знаю, замечала ли ты одну странность в наших мужчинах. Друг для друга они готовят охотно: в море, на ночевке в горах, в замусоренной холостяцкой хибаре. Но для женщины, даже если она повредила себе бедро и слегла, они будут готовить, только если захотят переспать с ней – а я уже, к счастью, не в тех годах. Там, под полкой, корзинка – почти из всего, что в ней, можно сделать салат; авось у тебя хватит ума понять, из чего нельзя. Если сомневаешься, лучше спроси. А там вон ножик и чашка – да, точно. Я бы сама всё сделала, но разум подсказывает, что дня три мне лучше с постели не подыматься. Говорила я тебе о своем неверионском друге, который как-то побывал со мной у рульвинов? Да, говорила, конечно, всего с неделю назад. Мой друг происходит из древнего, разветвленного неверионского рода; часть его родичей, как мне сказали, сидит в темнице, другая часть старается этого избежать, а третья держит в заточении первую. Так вот, позавчера мой друг снова меня посетил. Приплыл из самого Невериона на самом роскошном из виденных мной кораблей – рабы-гребцы там одеты лучше, чем наши богатейшие семьи. О, какой разговор у нас состоялся! До самого восхода солнца я слушала об удивительных и ужасающих чудесах, и друг мой спрашивал, какого я о них мнения – словно у рульвинской святой, только что спустившейся с гор после долгого размышления. Ха! А утром, как только с берега

послышались первые звуки, мой друг ушел. Замечательный корабль! И я, скорей всего, больше не увижу ни его, ни моего друга, но так уж суждено нам на этом свете. Ты, конечно, хочешь услышать, что случилось со мной прошлой ночью. Не знаю, приходило ли тебе в голову, – мне пришло как раз в эту ночь, когда подо мной проплыли на плоту две рульвинки; каждая говорила на своем диалекте, и они плохо понимали друг друга. Тут-то я и подумала, что язык может развиваться двумя путями. Представь, что ты придумываешь язык, видишь какой-то предмет впервые и называешь его «дерево». Потом ты видишь другой предмет. Ты можешь описать его как твердое, серое дерево без листвы и ветвей, а можешь назвать совсем иначе: «камень». Следующий предмет ты можешь назвать «большим камнем» или «валуном», «кустом» или «маленьким деревом» и так далее. Тогда в этих двух языках будут не только разные слова для обозначения одних и тех же вещей, но вещи эти будут поделены на категории по совершенно разному принципу. И деление это – не меньше, а то и больше, чем разные слова – будет определять образ мыслей людей, которые на этом языке говорят. У нас мужские и женские детородные органы называются по-разному, а у рульвинов обозначаются одним словом, «горги»; «мужское» и «женское» для них всего лишь свойства одного и того же предмета – и в этом, поверь мне, вся разница! Но ведь человек, впервые дающий имена всему безымянному, делает это весьма произвольно. (Тут я как раз сверзилась с дерева и это клятое бедро растянула.) Твой салат хорош с виду – возьми там две миски. Теперь подумай: даже если слова одинаковы...

Через два года Венн умерла.

Она вылезла через люк на крышу, чтобы полежать под зимними звездами, взяв с собой приборы и листы тростниковой бумаги. Кто знает, какие мысли пронеслись в ее уме подобно падучим звездам, которых она насчитала семь, когда, уже на рассвете – ведь тело ее еще не застыло – она, видно, и умерла; Норема, Йори и остальные стояли, задрав головы, и смотрели, как Февин спускает с крыши (обвязав веревкой под мышками) худенькую старушку с запачканным подолом и костлявыми щиколотками.

А через три месяца пришел красный корабль.

3

– Видела ты его? – вскричала Йори, вбежав в кухню из сада за домом. – До чего же большой! – С разбегу она так стукнулась о дощатый стол, что вся посуда задребезжала, и Куэма нахмурилась, помешивая похлебку в котелке над огнем. Норема отложила раковину, которую полировала шкуркой козленка, спросила себя, следует ли ей идти в гавань – и не пошла.

Рассказывали, что корабль простоял у причала не больше часа – только три женщины с пыльными рыжеватыми косами сошли на берег и тут же вернулись назад. Теперь корабль встал на якорь посередине залива, отражаясь в воде своими алыми разукрашенными бортами.

Потом пришла весть, что вся команда на корабле – женщины или девушки. Они приплыли в гавань на маленькой шлюпке и зашли в таверну, где рассказывали байки и выпивали: высокие, маленькие, черные, коричневые, толстые, белокурые – каких только нет.

Если шлюпка маленькая, сколько же в ней поместилось женщин, спрашивала Норема у Энина. Двадцать или тридцать, отвечал он... а может, шесть или семь. Норема только головой покачала.

Команда-то женская, добавили на следующее утро, но капитан – мужчина. Высокий, черный, с медными серьгами в ушах, с леопардовой шкурой через плечо, в деревянных сандалиях с меховыми завязками; на мощных икрах и предплечьях у него кожаные браслеты, на цепи вокруг пояса шесть мелких ножей, а юбка кольчужная и звякает на ходу.

Отец Норемы стоял у неоструганного забора верфи, слушал, как Большой Инек повествует об этом, вертел в пальцах шило и хмурился.

Подошла мать с охапкой досок, послушала, тоже нахмурилась и пошла дальше.

Вечером Йори за навесом, где плели сети – подкрались синие сумерки, вода между досками причала горела медью, – рассказала Норема про Морин, ту девочку, что сидела впереди нее в школе с солнечным квадратиком на плече. Морин была высокая, тощая, соображала туго, смеялась по всякому поводу и работала на лодке своего дяди, которая перешла теперь к ней – так она, во всяком случае, говорила. Школу она посещала от случая к случаю, да и то потому, что Венн ее отличала – не за ум, а за рыбацкий талант. Когда рыбацки вечером сходились в таверне, Морин садилась с краю, ничего не пила, говорила мало, а потом вставала и уходила. В море она пропадала по двое-трое суток, одна, но рыбы ловила мало, только себе на еду. Возвращалась шумная, будто пьяная, говорила, что их деревня – суцая дыра, угощала всех выпивкой и побуждала к веселью, сама же сидела молча, смотрела и пила воду. Все знали, продолжала Йори, что деревенская жизнь не по ней, – поэтому никто особо не удивился, когда она разговорила с пришлыми морячками, и те предложили ей работу на своем корабле, и она согласилась.

Но ее отец с дядей взбеленились и запретили ей туда наниматься, а когда она воспротивилась, побили ее, заперли ее в доме и сказали, что не выпустят, пока корабль не отчалит. И это еще не всё, продолжала Йори. Сегодня три большие девочки возвращались с купанья (маленькая дочка Инека тоже увязалась за ними) и встретили капитана и двух морячек; одна, толстая, с желтыми волосами, выпила вчера в таверне чуть не бочку вина, хлопала мясистыми руками по стойке и рассказывала такое, что все часами со смеху помирали, – ну так вот, они увезли всех четырех к себе на корабль! А час спустя обратно доставили, но на берегу уже вся их родня собралась. Морячка, видя это, не стала причаливать и велела девочкам плыть самим; кто-то из родичей прыгнул в воду, попытался перевернуть шлюпку и получил за это веслом по пальцам, а морячка повернула назад. Вечером в таверну никто из них не пришел, но корабль так и стоит в заливе – ждет, наверно, своих, что ушли с рульвинами торговать.

Норема и Йори возвращались домой по неровно замощенной улочке вдоль бедных глинобитных домишек, где висели сети, белье, птичьи клетки. Камни укладывали, когда Норема была младше Йори, и между ними пробивалась густая трава, растущая везде, кроме как у самой кромки воды.

Когда они подошли к неоструганному забору отцовской верфи, калитка распахнулась на кожаных петлях, и из нее вышли с полдюжины мужчин; отец стоял позади, держа руку на засове, задумчиво морщился и почесывал просмоленными пальцами курчавую рыжую бороду.

– Отец, зачем они приходили? – спросила Йори, будучи смелее Норемы (это показывает лишь, что младшая не столь любознательна, полагала старшая).

Снар молчал.

– Отец! – не унималась Йори.

– Значит, надо было. Не твое дело. – За спиной у него, между лодочных ребер, лежало море, пересеченное серебряной полосой.

– Это из-за красного корабля?

– С меня взяли слово, – хмуро ответил отец, – ничего не продавать чужакам, если эти бабы или их проклятуций капитан сойдут на берег после заката.

– А ты что? – спросила Йори.

– Ну, как откажешь. Дочку Большого Инека тоже на корабль увозили, а он работает у меня.

– И что с ней там сделали?

– Ничего, как я слышал – спасибо и на том. Весь вопрос в том, что они *могли* сделать.

– Что же это, отец? – спросила Норема.

– Хватит. Нечего стоять тут и расспрашивать меня о таких вещах. Хотите узнать больше – а я так думаю, что не надо вам это знать – идите поговорите с матерью. Живо, бегите домой.

Йори побежала, а обиженная Норема сочла, что она уже слишком большая, и пошла шагом.

Детство – это время, когда мы верим, что каждый поступок взрослых есть не просто самостоятельное явление во вселенной, но еще и преисполнен значения; не важно, к добру он ведет или к худу и понимаем ли мы его смысл.

Взрослея, мы видим, что все человеческие поступки вытекают, хорошо это или плохо, из установленных форм и означают, к добру или к худу, лишь то, насколько эти формы устойчивы.

В разных культурах этот переход совершается в разном возрасте и занимает разное время; одни проделывают его за неделю путем молитв, уединения, особых танцев и ритуалов, другие идут собственным путем, без чьей-либо помощи, и часто затрачивают на это несколько лет. Но в этом переходе всегда есть период – мгновенный или затянувшийся на год – когда поведение взрослых кажется юности *чисто* формальным и *совершенно* бессмысленным.

Как раз в таком периоде пребывала в тот день Норема. Поговорить с матерью? Ладно, она поговорит. Как раз собиралась.

Тадим уже уходила, когда Норема ворвалась в дом. Мать, скрипя заслонками, тянула за веревки в задней стене очага.

Норема ковырнула ногтем темное пятнышко на столе, похожее на отставшую щепку.

– Мама? – Нет, не щепка. – Ты знаешь, что в заливе стоит красный корабль?

Заслонки грохнули.

– Что бы ты сделала, – Норема провела пальцем по темной древесной жилке, – если бы я захотела наняться туда матросом?

– Что? Ну нет, не настолько же ты глупа. Как это вообще могло прийти тебе в голову?

– А что такого? За что на них все так злятся?

– За что? – Мать выпрямилась. – Полный корабль женщин с черным капитаном, половина из них девочки не старше тебя, вербует на нашем острове новых девочек – и ты спрашиваешь, почему люди злятся?

– Да. Почему?

Мать закатила глаза и снова взялась за веревки.

– Ох уж этот очаг...

– Позапрошлым летом Февин был единственным мужчиной на лодке Бойо. Я три дня провела с ними в море, и ты разрешила.

– Февин свой человек, а капитан иноземец и хочет увезти девочек навсегда. А если он их в рабство продаст? И кто знает, что он делает с ними ночью, после дневной вахты?

– Ничего плохого, я думаю. Их много, а он один.

Мать досадливо фыркнула.

– Ничего-то ты не смыслишь, как я погляжу. Мы стараемся защитить детей от царящего в мире зла, а потом видим, что вырастили дурочек, беззащитных в своей невинности против этого зла. Не чувствуешь ты разве, глядя на этот багряный корабль, что он противен природе, что он *опасен*?

– Ой, мама, полно тебе!

Мать продолжала тянуть за веревки, хотя заслонки уже прочно встали на место. Видя, как она расстроена, Норема села к столу и стала шелушить собранные Йори орехи – а после вернулась к морю.

Она бродила среди причалов, складов, развешанных сетей, вытасканных на берег лодок, и тихая вечерняя гавань казалась ей какой-то чужой. Может, причина в красном корабле, которого даже и не видно отсюда? Нет, это скорее всего потому, что в соседних улочках пусто. Моряки больше не суются на берег, а местные, хотя будто бы не боятся их, тоже сидят по домам. Смех, да и только!

Когда она подошла к таверне, из боковой двери выскочил Энин и прошептал, хотя рядом никого больше не было:

– Слыхала? Они хотят сделать это нынче же ночью!

Норема не понимала, о чем он.

– Красный корабль поджечь, вот что! Дотла сжечь! – крикнул он, убегая – она краем глаза поймала свое отражение в его зеркальце. Ее левый бок под рубашкой проняло холодом. Это был ужас – не тот, от которого замирают, не в силах двинуться с места, а легкий, который можно принять за бриз, качающий мачты в гавани. Следуя традиционным приемам повествования, нам сейчас следовало бы придумать, что Норема уже встречалась с морячками, что солнечным полднем она ела арбуз и секретничала с двадцатилетней женщиной или четырнадцатилетней девчонкой с бусами в волосах, – или помогала дюжей гребчихе, приставшей к берегу поутру, вычерпывать воду и конопатить шлюпку. Такая сцена, предшествующая этой, безусловно направила бы наше повествование в более привычное русло. Вся беда с такими выдуманными встречами в том, что они либо вовсе не происходят, либо, вместо того чтобы привести к задуманному рассказчиком действию, вызывают в нас чувство, что мы уже что-то сделали, – особенно если это действие противоречит воле большинства.

Норема, как мы уже видели, любила анализировать; такие люди, как мы говорим сегодня, больше склонны поддерживать абстрактные идеи, чем разбираться в будничной путанице. Во времена Норема тоже можно было так выразиться, и она не очень-то отличалась от нас.

Стоя у таверны, Норема решила предпринять что-то – посмотреть, по крайней мере, что будут делать поджигатели, и как-то помешать им, если это возможно.

Она отошла, тихо ступая по гравию в своих мягких башмаках. В уме мелькнуло воспоминание, как они шли с Венн через тени мачт. Теперь тени лежали на воде, колеблемые волнами, и на причале слышались чьи-то шаги.

Послышался мужской голос. Другой, помоложе, ответил.

Двое парней, прыгнув с лодки, смотрели на сушу. Из-за угла на улице вышло с дюжину человек, среди которых были Большой Инек и Февин.

Норема следила за ними, спрятавшись за большим, обшитым холстиной тюком. Мужчины сели в лодку, и одна мачта вышла из леса других на темную воду.

Между домами угасал медный закат, и небо наливалось густой синевой, которую море не может отразить даже при полном штиле. Трое ребятишек бежали по улице с криками:

– Давай играть в красный корабль!

– Чур, я капитан!

– Ты девчонка и не можешь быть капитаном!

– Залезем на него и зажжем?

– Ага!

– Ладно, капитаном будешь ты – а мы тебя подожжем!

– Все равно тебе нельзя. Поджигать одни мужчины поехали.

– Тогда я играть не буду.

– Да ладно тебе...

– Девочки тоже могут играть в красный корабль!

– Не буду, и всё!

Парус, поднятый на мачте, надулся и двинулся через залив.

Двое мальчишек вбежали на причал.

– Подождите! – кричала девочка. – Я тоже играю!

Норема вышла из-за тюка, зная, что видела сейчас нечто очень важное, но не зная, почему это важно, – таких, как она, это всегда выбивает из колеи.

Дети убежали.

Лодка ушла.

Стало пусто.

С открытого места Нореми неодолимо тянуло либо к домам, либо к тюкам и перевернутым лодкам. Но она шла дальше, улыбаясь своему страху, думала об угрозе красного корабля и вглядывалась в улицы, которым он угрожал.

Облетевшее дерево, полоща корни в воде, клонилось над полукружием песка. Когда-то Норема и Венн просидели здесь целый час, споря о наполовину ушедшей в море медяшке берега: растет она или, наоборот, убывает? Сколько уж лет прошло с того дня, а она такой и осталась. Норема села между двумя деревьями, еще не сползшими в воду, глядя сквозь ветки третьего.

Корабль, стоящий поверх своего отражения, наводил на сравнение с листьями: ветер колеблет их, но целиком не срывает – так и отражение не может оторваться от корабля.

Прошло уже почти два часа. Небо совсем потемнело, на востоке прорезались звезды. Ветка склоненного дерева пересекала далекий корабль, словно разламывая его пополам. Венн как-то показывала им озерцо лавы в горах: оно треснуло, когда остывало, – так думала Венн – или от копыт диких коз – думал Делл; а может, это след какого-то подводного извержения, от которого и зародились их острова (снова Венн). Огонь!

Он вспыхнул на корме и заструился вдоль ватерлинии. Значит, островитяне, спрятав лодку на другом берегу залива, подплыли к судну с пузырями горячего масла. Сначала полили корпус внизу легким маслом, потом вылили на воду тяжелое, окружив корабль кружевным кольцом пятнадцатифутовой ширины. Откуда Норема знала, как поджечь корабль, стоящий на якоре? Всё от той же Венн, рассказывавшей ученикам сказку о трех жуках и белой птице; поджигатели тоже ее слышали, не иначе... А потом уплываешь подальше от плавучего огнива, оставив на корме фитиль, пропитанный маслом и вываленный в песок; он будет тлеть целый час. Поджигаешь с подветренного конца, оставив воспламеняющееся кольцо с наветренного, и уплываешь что было сил.

Норема, оцарапав руку о кору, прижалась к стволу. Листья освещались один за другим до самого низа.

Она слушала эту сказку, обняв колени, впитывая в себя историю о горных схватках, морских погонях, отважных подвигах и предательстве. Огонь, отраженный в воде, казался не таким уж и страшным. Цепляться за ветку Нореми побуждал не страх, а тревожное ожидание... ожидание других звуков, помимо еле слышного потрескивания, зрелища людей, прыгающих или падающих в огненное кольцо. Только ожидание – больше никаких чувств.

Там люди гибнут, говорила она себе, но и от этого чувства не пробуждались. Там гибнут женщины (как сказала бы Венн). Опять-таки ничего.

– Там гибнут женщины, – прошептала она, зажмурившись, – и убивают их наши мужчины. – На этот раз она ощутила щемотку ужаса, вспомнив двух мальчиков и девочку, играющих в гавани. Море перед ней и лесок позади мерцали тревожным светом. Она открыла глаза: вода вокруг корабля похлахла, обломки уже плыли к берегу.

Картонный короб застрял в песке у черты прибоя, распался, и мелкие предметы, упакованные в нем, заплескали на волнах, как живые.

Норема, подойдя ближе, подобрала мячик величиной с согнутый мужской палец – черный, мокрый, не сказать чтобы мягкий. На темной воде покачивалось еще много таких.

Сжав его в кулаке – корабль вдали тлел, как догорающий костер, – она ушла в лес.

Она шла, шурша по листьям своими мягкими башмаками, и ломала голову над неразрешимой задачей. Потом забралась в окно своей комнаты, легла в постель и уснула, глядя, как перемещаются тени на стенах. Упругий мячик лежал у нее под подушкой.

4

Следующие пять лет Норема, если бы кто-то ее спросил, несомненно назвала бы самыми важными в своей жизни. За эти годы она позабыла многое из того, о чем мы здесь рассказали, но о них мы расскажем вкратце. Через месяц после пожара она встретила неотразимого рыжего парня с другого острова – он возглавлял артель из двенадцати лодок, где работали десять мужчин и две женщины. Еще через три месяца она вышла за него замуж и переехала на его остров. Сначала у них родился сын, потом, с промежутками всего в полтора года, две дочери. Иногда ей вспоминалось что-то из прошлого (скажем, тот пожар на воде, который, как она думала, навсегда выпал из ее памяти). Это случалось на рассвете, когда она сидела с мужем и детьми на палубе, как когда-то с матерью и сестрой; лунными вечерами на Ивовом Обрыве, любимом ее месте на новом острове, омываемом у подножья кружевной пеной; в полдень, когда муж, сидя на тумбе в гавани, чинил сеть, а она смотрела на его загорелую спину и рыжие завитки за ухом. Она уже учила своих детей кое-чему из того, чему Венн учила ее и других ребят; ее забавляло и вызывало легкую гордость то, что на новом месте ее считают женщиной мудрой, но малость чудной, и она не совсем понимала, отчего ее муж так недоволен этим.

На пятом году ее замужества остров посетила чума.

Ее пятилетний сынишка умер. Не будь Норема так занята, врачую больных травами по рецепту Венн (зелья не могли побороть болезнь, но хотя бы облегчали страдания), она спустила бы на воду один из перевернутых яликов, уплыла подальше и затопила бы его с собой вместе.

Умерли также семь рыбаков из артели мужа.

В разгар болезни, когда стены ее дома содрогались от плача детей и кашля взрослых в соседних хижинах, муж пришел домой рано, как после обычного утреннего выхода, – хотя раньше говорил, что сегодня в море не выйдет. Он побродил по дому, потрогал незаконченную корзину, пошаркал ногой по плитам у очага, а после объявил, что намерен взять вторую жену.

Она удивилась и начала возражать – больше как раз от удивления, чем от искреннего желания его переубедить. В памяти всплывали рассказы Венн о рульвинах: будущая жена была, похоже, дочь богатого рыбака, недавно перебравшегося на остров, очень красивая семнадцатилетняя девушка, успевшая прослыть избалованной и вздорной.

Посреди спора Норема вдруг поняла, что нужно сделать, и согласилась.

Муж, изумленно посмотрев на нее, хотел что-то сказать, промолчал, вышел и спустя два часа вернулся. Норема сидела у колыбели младшей девочки, чье дыхание недавно сделалось хриплым, и пыталась не слушать трехлетнюю старшую, пристававшую к ней с вопросами:

– Почему рыбки умеют плавать? Откуда они знают, как надо? А что они делают под водой, когда не плавают? Мама, ну, скажи, почему...

Муж схватил ее за плечо и так впечатал в подпорный шест, что содрогнулась вся тростниковая крыша. Испуганная девочка замолкла, а ее отец принялся поносить жену. Знает ли Норема, что она злая женщина и скверная мать? Что она загубила его дело, душу и репутацию? Что она хуже чумы, опустошающей остров? Что она убила его сына и настраивает против него дочерей? Да еще возомнила (все это время он бил ее в грудь то одним кулаком, то другим), что достойна жить в одном доме с красивой и добросердечной женщиной, к которой он собрался уйти? Не допустит он подобного срама...

Тут он попятился и поспешно ушел.

Семь часов спустя Норема сидела на полу, зажмурившись, обхватив себя руками, и с губ ее рвался пронзительный приглушенный звук. Старшую дочку она успела отправить к тетке, когда малютка начала кашлять зеленой мокротой с кровью. Мертвое дитя лежало у ее ног.

Через две недели пришли лодки, чтобы увезти в Неверион ее и еще пятьдесят человек, – сколько осталось из деревни, насчитывавшей прежде восемьсот жителей.

– Именем малютки-императрицы Инельго, доброй и сострадательной владычицы нашей: все, в ком наши три лекаря не усмотрят знаков чумы, могут отплыть в ее стольный град Колхари и начать там новую жизнь к вящей чести ее и славе.

Их шкипер был волосатым коротышкой с просмоленными руками, в позеленевшем шлеме и меховой куртке. Настроенный прежде довольно мирно, он наливался яростью, курсируя от одного чумного острова до другого. Лекари щупали пах и подмышки, оттягивали веки, заглядывали в уши и горло; среди дюжины отвергнутых ими были муж Норемы и его новая женщина, но ничего особенного она не почувствовала. Гнева она не испытывала и раньше – разве что обиду, но горе заглушило ее. Оставшуюся у нее дочку увезли на соседний остров в тот самый день, когда мокрота девочки стала зеленой, и Норема не знала, живо ее дитя или нет... да нет же, знала. Она скорее сочувствовала тому, кто когда-то был, пусть и трудным, спутником ее жизни. Когда их шлюп входил в порт Колхари, она, оглушенная смертью и своей отверженностью, говорила себе, что именно этот опыт будет определять всю ее дальнейшую жизнь; но пока рассветная гавань становилась все ближе, ужасы последних месяцев улетучивались из памяти, а вместо них вспоминались прогулки с Венн и ночь, когда в заливе горел корабль.

Нью-Йорк, ноябрь 1976

Повесть о юном Сарге

И если завтра вся история, на которой они основаны, окажется ложной, если выяснится, что глиняные таблички истолковали неверно, что неправильно всё – времена и места, – это нисколько не повлияет на наше восприятие, потому что Неизвестный, Город, картины, звуки и запахи, сконструированные поэтом из истории и человеческой активности, стали реальными на новом уровне бытия.

Ноэль Сток¹¹. Читая «Кантос»

1

В те жестокие варварские времена он был самым настоящим варварским принцем. Дядя, брат его матери, носил женские украшения и слыл знатоком лесных зверей и болезней. К четырнадцати годам подошвы у Сарга загрубели от лазания по пальмам, а ладони – от собирания в пузыри сока из надрезов на этих пальмах. Каждые три-четыре года пузыри меняли у заезжих чужестранцев на разноцветные камешки и железные инструменты, и ему, как принцу, полагалось собрать больше всех. На голове у него был колтун, а голод он утолял лишь через два дня на третий, когда кто-то приносил дичь или умудрялся найти новое плодовое дерево: его племя не имело никаких, даже самых примитивных, понятий о сельском хозяйстве.

Но дичи и плодов, по общему мнению, становилось все меньше и меньше.

Его титул, впрочем, кое-что значил. Когда его мать поднимала крик и грозила соплеменникам смертью или изгнанием, они делали то, чего хотела она – побивали, скажем, камнями Безумного Наргита. Тот повздорил с женщиной по имени Блен и убил ее. Все говорили, что Блен была неправа, однако... В ту же луну Наргит ввязался в драку с молодым белобрысым охотником Кадыюком и сломал ему ногу; это значило, что Кадыюк год не сможет ходить, а хромать будет до конца жизни. Кроме того, Наргит убил самку черной (священной) крысы и два дня таскал ее за хвост по деревне, распевая непристойную песню про древесного духа и мотылька. Крыса, как заявляла мать Сарга, доказывала, что Наргит сам напрашивается на казнь.

Дядя, тряся женскими сережками с голубыми камнями, предложил просто изгнать его.

Мать, услышав это, предположила, что брат ее безумен не меньше Наргита: племя не сможет помешать безумцу, если он вернется и начнет убивать, – а он неоднократно высказывал это желание, сцепив зубы, обливаясь потом и дрожа так, словно всю ночь пролежал в ручье связанный (что с ним действительно проделывали несколько раз, когда он был помоложе). Лучше Наргиту уже не станет, говорила мать, только хуже.

И его казнили.

Побивание камнями, как узнал Сарг, – дело долгое. На первом часу Наргит просто держался за дерево и пел другую непристойную песню. Еще через два часа Сарг (потому что он был принцем и чувствовал себя скверно) взял большой камень, подошел к дереву, под которым скорчился окровавленный Наргит, и раздробил ему череп. Два мелких камня угодили ему в плечо, и он крикнул, чтоб перестали. Будучи принцем, он тоже мог надеть женские украшения, долго поститься в лесу и стать таким же сведущим человеком, как дядя. Но он предпочитал мужские: они были ярче, и у него, как у принца, их было больше, чем у других. От его старшей

¹¹ Ноэль Сток (р. 1929) – исследователь жизни и творчества Эзры Паунда (1885–1972). «Кантос» («Песни») – незавершенная поэма Э. Паунда.

сестры, ярко-рыжей и курчавой, ожидали многого как от будущей королевы, и она уже перенимала имперские замашки их матери – а Сарга большей частью оставляли в покое.

В лесу, простиравшемся от речной развилки и большого ручья (где жили выдры) до первой расселины в скалах (в двух днях пути) он знал чуть ли не каждое дерево, камешек и валун, знал все человечесьи и звериные тропы. Узнавал всех животных не хуже, чем всех людей из Семи Кланов, составлявших его королевство. За пределами леса не было ничего, и это ничто входило в область тьмы, ночи, сна и смерти; оно было могучим, загадочным, по праву внушало ужас, и незачем было что-либо знать о нем. Семь Кланов состояли из кланов Кролика, Собаки, Зеленой Птицы и Вороны, клана самого Сарга.

Лишь когда его увели чужие, он сообразил, что кланов на самом деле всего четыре, – значит, его племя было когда-то гораздо больше.

В уме у него начало складываться нечто вроде исторического процесса – нам с вами, всегда знавшим, что такое история, этого не понять; и это было лишь одной из многих идей, которые он постиг благодаря жестокому, бесчеловечному явлению под названием цивилизация. И когда это случилось, он, разумеется, перестал быть истинным варваром.

2

Рынок Элламаона под тростниковым навесом, занимавшим половину площади, к вечеру затихал. Угасающий свет ложился чешуйками на просыпанные томаты, тюк сена, растоптанную ботву. Человек с корзиной за плечами перестал кричать, перевел дух и ушел в переулок. Метельщица оставляла в пыли завитушки и следы собственных босых ног. Мужчина с граблями тащил за собой растущую кучу мусора.

Толстяк у опорного шеста в углу рынка вытер потную лысину и стал ковыряться в усах, где, вопреки его стараниям, вечно застревали хлебные крошки, кусочки яблочной кожуры, а теперь еще и прилипло что-то. На широком с заклепками ремне, опоясывающем его потрепанную красную юбку и нависший над ней живот, висели длинные ключи.

Рядом на земле сидели рабы в железных ошейниках. Локти, колени и позвонки старика выпирали под сухой и сморщенной, как многократно переписанный пергамент, кожей. У молодой, лет двадцати, женщины в серых лохмотьях голова была завязана грязной тряпкой, под которой виднелся уродливый рубец. У нее были короткие желтовато-белые волосы, похожие цветом на козье масло, и узкие голубые глаза. Она раскачивалась, обхватив свои потрескавшиеся ступни. Третьим был подросток с золотистой кожей темнее его спутанных волос, с синяками на руке и костлявом бедре. Он сидел на корточках и тер свою цепь листом, зажатым в мозолистых пальцах.

На доску, к которой были прикреплены все три цепи, внезапно упала тень.

Работорговец и женщина подняли глаза. Старик спал, привалившись плечом к шесту, мальчик продолжал свое дело.

Человек, отбрасывавший тень, был высок, темнокож, мускулист, с выступающими наружу жилами. Его щеку пересекал длинный шрам, из-под кожаной сетки между ног выбивались волосы. Медные браслеты звякали на лодыжках поверх широких босых ступней. На цепочке вокруг пояса с одного боку висел меховой кошель, с другого – нож в меховом футляре. Татуированную руку между плечом и локтем охватывал, врезаясь в тело, еще один медный браслет, с шеи на грудь свешивался позеленевший бронзовый диск. Пыльная коса, завязанная другой кожаной тесемкой, за день наполовину расплелась и болталась над мощными плечевыми мышцами. Оглядев трех невольников, он почесал нос. Черный ноготь большого пальца говорил о недавней драке, в остальные, коротко подстриженные, въелась несмываемая траурная кайма. Ладони загребели почти не меньше подошв. Он потянул носом и сплюнул в ту же обволокнушую плевков пыль.

– С утра, значит, остались? То, что негоже? – Голос у пришельца был хриплый, легкая усмешка выражала презрение.

– Девушка умеет стряпать на западный лад, да и для другой работы сгодится, если подкормить ее малость. – Торговец положил руку на живот, точно сдерживая его неудержимый напор, и прищурился. – Ты ведь уже был здесь утром? И торговался?

– Я только проходил мимо. В торг не вступал.

– Посмотреть приходил, стало быть. Бери девку: она белокожая, страстная, чистоплотная, и нрав смирный.

– Врешь.

– Так покупаешь или нет? – продолжал торговец, будто его и не прерывали. – В этой чистоплюйской крепости от рабов нос воротят – и не потому, что соболезнают этим несчастным. Я о своем товаре забочусь, чтоб ты знал. Кормлю каждый день и каждую луну вожу в баню, не то что некоторые. Нет, – он снова вытер лоб мясистой рукой, – они просто думают, что рабы – слишком большая роскошь для их горных высот.

Коричневая девочка в отрепьях, с ежиком на недавно остриженной голове и грудками как две горстки песка, подбежала к ним и выдохнула, показывая что-то завернутое в листья:

– Драконье яйцо! Вот-вот проклюнется, только что из загона двумя милями выше нас. Всего за серебрянник...

– Ступай прочь, – бросил торговец. – Думаешь, я никогда не бывал в знаменитой крепости Элламон? В прошлый раз мне целое лукошко хотели всучить и клялись, что детеныши обогатят меня, когда вырастут. – Он хотел оттолкнуть девочку, но та увернулась и обратилась к высокому мужчине:

– Драконье яйцо!

– Серебрянник за драконье яйцо – цена хорошая. – Высокий потыкал пальцем то, что лежало в листьях. – Но это вот растет на деревьях у Фальтского водопада. Драконье яблоко называется. Если подержать такой плод неделю на солнце, переворачивая его каждый день, он станет похож на семя крылатого чудища...

– Вот, значит, как это делается? – Торговец хлопнул себя по пузу ладонями.

– ...только ты черенок оторвать забыла, – договорил высокий. – Ступай.

Девочка, отбежав, оглянулась – не на мужчин, а на женщину с волосами не длиннее, чем у нее, хотя намного светлее. Та по-прежнему раскачивалась, тихо бормоча что-то.

– Стало быть, места вокруг Элламона тебе знакомы, – сказал торговец, колыша живот в руках. – Как твое имя?

– Горжик. У меня и другие есть, но сейчас они мне ни к чему. Я часто останавливаюсь в горных селениях, как прославленных, так и нет – на день, на неделю, на месяц – и Элламон для меня ничем не отличается от сотни других городишек в пустыне, горах или джунглях. – Он снова окинул взглядом рабов. – Откуда они?

– Старик – не знаю. Он у меня остался от прошлой партии – куча домашних рабов и он. Дрыхнет все время. Парня взяли в каком-то набеге на южные земли, это варвар из джунглей под Вигернангхом... – Торговец ткнул Горжика пальце, в грудь. – Оттуда же, откуда твоя астрябия.

Тот вздернул кустистую бровь.

– Ну, я ж вижу. Звезды у тебя на тарелке из южных широт, а узор по краю такой же, что был на ножном браслете у парня – мы его сняли, конечно.

– Что он такое делает? – осведомился Горжик. – Хочет протереть цепь насквозь?

– Я ему дал пинка пару раз, а он знай свое. Ничего, не протрет – всей его жизни на это не хватит.

Горжик толкнул мальчика коленом в плечо.

– Что ты делаешь?

Тот, даже не поднимая глаз, тер дальше.

– Он что, дурачок?

– А женщина, – не отвечая, продолжал торговец, – из мелкой крестьянской провинции где-то на западе. Когда-то ее вроде бы захватили разбойники из пустыни. Она сбежала, добралась до самого Колхари и торговала собой на пристани, но в гильдию не вступала, и ее снова забрали в рабство. Лакомый кусочек, отборная, вот только никто ее не берет.

Глаза женщины широко раскрылись. По ней прошла дрожь, и она заговорила пронзительно, обращаясь будто не к Горжику, а к кому-то стоящему позади него и чуть сбоку:

– Купи меня, господин! Забери у него! Он едет в пустыню и хочет продать меня там. Знаешь, что делают там с рабынями? Я уже побывала там и не хочу больше. Пожалуйста, купи...

– Сколько хочешь за парня? – спросил Горжик.

Женщина осеклась на полуслове, сощурила глаза, опять передернулась и устоялась куда-то перед собой. Девочка с фальшивым яйцом, стоявшая поодаль, пустилась бежать.

– За него-то? Двадцать серебрянников и твою астроябию – уж больно работа тонкая.

– Пять монет без астроябии. Хочешь сбагрить такой товар – корми и мой их получше. На будущей луне войдет в силу императорский налог для тех, кто перевозит рабов из одной провинции в другую. Если собираешься с ними в пустыню...

– Три имперских золотых, и забирай всех. Парень, ясное дело, из них самый лучший. В Колхари я за него одного выручил бы три монеты с портретом императрицы.

– Тут не Колхари, а горная крепость, где платят горские цены. А три раба мне без надобности. Даю за парня десять железяк, только чтоб ты заткнулся.

– Тринадцать и астроябию. Тринадцать монет без нее не могу взять, боги почитают это число несчастливым...

– Даю двенадцать без астроябии: дюжина у богов слывет счастливым числом. Хватит тебе мелочиться...

Но торговец уже возился с ключом у доски, отпирая замок.

– Выкладывай деньги.

Горжик достал из кошелья горсть монет, скинул обратно лишние.

– Вот, держи. – Ссыпав монеты в подставленные ладони торговца, он взял у него ключ и отомкнувшую цепь. – Железная монета тоже имперская, и сборщики налогов дают за нее два с половиной серебрянника. – Горжик поднял мальчика, завел ему руки за спину и обмотал цепью от плеч до запястий.

– Я имперские деньги знаю. Лет через пять других не останется вовсе, а жаль. – Торговец, шевеля губами, пересчитал свою выручку. – А ты, похоже, знаешь, как связывают рабов на Фальтских рудниках, верно? – Мальчик смотрел себе под ноги, куда упал лист. – Надсмотрщиком был там? Десятником?

– Получил свои деньги, и ладно. Теперь я пойду своей дорогой, а ты своей. – Горжик подтолкнул мальчика вперед, туго натянув цепь. – Вздумаешь бежать, дерну за цепь и руки тебе сломаю. Ноги сломаю тоже и кину тебя в канаву – на что ты мне сдался такой?

– Может, продашь все-таки астроябию? – крикнул ему в спину торговец. – Два серебрянника! Очень уж она мне приглянулась.

Горжик, не отвечая, шел дальше. Выходя из-под рыночного навеса, мальчик обернулся к нему.

Красавцем он не был. Плечи загорели дочерна, выгоревшие волосы падали на лоб, маленькие зеленые глазки сидели чересчур близко. Широкий и слабый подбородок, нос крючком – одним словом, один из тех грязных, неотесанных варваров, что в Колхари обитают всем скопом в Чаячьем переулке на северной стороне Шпоры.

– Лучше бы женщину взял, – сказал он. – Днем она бы работала на тебя, ночью тебя услаждала.

– А с тобой, по-твоему, будет иначе? – осведомился Горжик.

3

Горжик, сидя за обильным столом, уплетал за обе щеки, пел военную песню и стучал кружкой рома по столу в такт с другими, плеща себе на кулак. Трем солдатам, своим сотрапезникам, он рассказал историю, от которой пятнадцатилетняя прислужница у него на коленях подняла визг, а солдаты зареготали. Пьяный в стельку человек предложил ему сыграть в кости; Горжик после трех бросков заподозрил, что кости по старинке налиты свинцом, и убедился в этом, выиграв на следующем броске. Но противник его как будто в самом деле сильно набрался, поскольку пил на глазах у Горжика. Горжик залпом допил свою кружку и встал из-за стола, притворяясь куда более пьяным, чем был. Две горянки, поев за ширмой, следили за игрой с пронзительным хохотом, солдаты им вторили – ну, хоть девчонка ушла, и то хорошо. Один солдат подбивал ту, что постарше, тоже попытать счастья.

Жену хозяина он нашел на кухне. Выйдя вскоре во двор с охапкой мехов (хозяйка не взяла их в уплату, полагая, что в доме слишком жарко для меха), Горжик протиснулся между воловьей привязью и стеной колодца и оказался под окошком кладовки. Таверна, что часто случается в провинциальных торговых городах, когда-то процветала, потом закрылась и пришла в запустение; часть дома снесли, часть перестроили. Больше века в ходу была только треть здания, и последние двадцать лет это, как правило, были разные трети.

Горжик пересек пространство, бывшее раньше не то большим чертогом, не то открытым двором. Переступил через камни, бывшие когда-то стеной, прошел вдоль уцелевшей стены. Когда он спросил хозяйку, где ему поместить своего раба, она указала ему на «флигель».

В одной из комнат этого флигеля были свалены поломанные скамейки, битые горшки и стояла повозка со сломанной осью. Две другие пустовали, но в одной неприятно пахло. Раньше они, вероятно, были частью большого здания, теперь же хозяйка, держа на бедре корзину с кореньями, долго объясняла Горжику, как пройти. Флигель стоял на гранитной плите за таверной, примыкая к ней обрушенной местами стеной. Горжик шел туда уже в третий раз.

Впервые, еще до заката, он приковал своего молодого варвара к столбу, подпирающему остатки просевшего потолка. Из трещин в глине торчала солома, один угол начисто обвалился.

Во второй раз, перед тем как поужинать, он принес поесть и рабу – те самые коренья, что были в корзине, отваренные и приправленные оливковым маслом. Будучи по цвету, вкусу и плотности чем-то средним между репой и сладким картофелем, они перемежались кусками поджаренного сала, довольно вкусного, если есть его с солью и горчицей, пока не остыло. Рабов обычно так и кормили – то, что давал парню работородец, было гораздо хуже. За соль Горжик заплатил отдельно, а затем, пользуясь дымовой завесой на кухне, зачерпнул из сосудов на столе горчицы и зеленого перца, смахнул в горшок, вытер руку о бедро и нырнул в дверь с горчичным мазком на ноге.

На третий раз он нес парню одеяла, хотя ночь была не слишком холодная. Туча убрала свой посеребренный край от луны (верхняя из шкур, щекодавшая ему нос, была белая), листья, шелестевшие от ветра, затихли, и Горжик услышал звук, начавшийся в первый его визит, продолжавшийся весь второй и предшествующий этому, третьему.

Мальчик, сидящий на корточках так, что луна освещала только его колено, тер свою цепь зеленым листом. Горшок с едой опустел.

Горжик скинул на каменный пол две шкуры и стал расстилать третью, черную.

Мальчик все тер.

– Я купил тебя, – Горжик расправил ногой загнутый угол, – думая, что ты дурачок. Но это не так. Ты помешанный. Прекрати это и скажи, зачем это делаешь. – Он встряхнул белый мех, бросил на черный и прикрыл сверху бурым.

Мальчик, не вставая, повернулся и посмотрел на хозяина. Цепь, свисая с его шеи, змеилась к столбу.

– Я мертвый, – сказал он, – и делаю то, что надлежит делать мертвому.

– Сумасшедший ты, вот что. Это твоё трение меня раздражает. – Горжик уселся на одеяла. – Поди сюда.

Мальчик заковылял к нему на корточках, приподняв цепь на дюйм от земли.

– Я не сумасшедший. Я мертвый. Сумасшедшим был Наргит, но теперь... – Мальчик задумчиво вздернул верхнюю губу. Один из его зубов налезал на другой, делая парня ещё более неприглядным. – Теперь он тоже мертвый, потому что я убил его. Может быть, я его встречу здесь.

Горжик хмуро ждал продолжения. Подлинно цивилизованные люди (вызывая недоумение у нас с вами) проявляют терпение к тому, что приводит в недоумение их.

– Я должен делать это, – продолжал мальчик, – столько жизней, сколько листьев у катальпы в три человеческих роста. Останавливаться нельзя. Но я уже так устал...

– По мне, так ты очень даже живой, – сказал Горжик. – Стал бы я покупать тебя, будь ты мертвый? На что мне мертвый раб?

– Нет, я мертвый! Я сразу понял. Всё почти так, как в дядиных сказках. Я сижу на цепи в месте, где нет ни ночи, ни дня; и если я буду тереть её зеленым листком столько жизней, сколько листьев на катальпе в три человеческих роста, цепь распадется, я буду свободен и смогу пойти к речной излучине, где много плодовых деревьев и легко добыть дичь... Но знаешь? Меня сразу посадили на цепь, как только забрали из леса, и я сразу начал свой труд. Но спустя неделю, целую неделю после моей смерти, меня отдали человеку, у которого ты меня взял, и поменяли старую цепь на новую. И это нечестно, потому что я уже неделю трудился. И продолжаю трудиться все время, пока не сплю. Я знаю, что неделя не слишком долгое время по сравнению с числом жизней, равному листьям на катальпе в три человеческих роста, но я трудился как должно, и это приводит меня в уныние. В такое уныние, что хочется плакать.

– Позволь объяснить тебе, что значит быть рабом, – сказал Горжик. – Даже если ты будешь трудиться столько жизней, сколько листьев в целом катальповом лесу, твой хозяин, увидев, что твоя цепь стала хоть на волосок тоньше, мигом справит тебе новую. – Оба помолчали, и Горжик спросил: – Если я сниму с тебя цепь, ты сбежишь?

– Я не знаю даже, в какой стороне та речная излучина. И я очень устал.

– Давно тебя взяли в плен?

– Луна, полторы луны... Мне кажется, что уже целая жизнь прошла.

Горжик, достав из кошелька ключ, вставил его в замок на шее невольника. Цепь звякнула о камень и бесшумно упала на мех.

Мальчик пощупал шею.

– Ошейник ты тоже снимешь?

– Нет. Не сниму.

Раб и хозяин сидели по обе стороны от меховых одеял. Один ощупывал свой ошейник, другой вертел в пальцах ключ. Лунный блик на волосах мальчика внезапно угас, и оба подняли глаза к небу.

– Что это? – спросил мальчик.

– Летучие ящеры, которыми славятся эти горы. Их выращивают в загонах там наверху. – Горжик улегся на мех. – Они считаются питомцами малютки-императрицы, и к ним приставлены наездницы, которые их обучают. Вон ещё один. – Горжик показал вверх сквозь пролом в крыше. – И ещё.

Мальчик, встав на четвереньки, задрал голову кверху.

– Я уже видел их, но не так много. – Он сел, поджав ноги, и задел колено Горжика своим.

Тёмные крылья совсем загородили луну – и пропали.

– Да, чудно, что их столько развелось, – сказал Горжик. – Когда я последний раз был в Элламоне, то за все время видел лишь одного – да и тот, может статься, был стервятником.

– У стервятников таких хвостов и шей нет.

Горжик, утвердительно буркнув, зацепил ногой горшок.

– Теперь они возвращаются, вся стая. Ложись сюда и увидишь.

– Они еще далеко... нет, поворачивают. – Мальчик подвинулся к Горжику, опершись на локти. – Так на них люди сидят? Каково это, летать так высоко над горами?

Горжик протянул руку, и железный ошейник лег ему на ладонь. Мальчик приподнял было голову, но Горжик его удержал.

– Ты ведь знаешь, что мы будем делать сейчас? – спросил он, глядя на летучие тени.

– Мы? – Мальчик повернул голову, вглядываясь в заросшее щетиной лицо Горжика. – Это глупо. Ты взрослый мужчина. Это делают только мальчики подальше от деревни, в лесу. Став мужчиной, ты берешь себе женщину и делаешь это с ней в своем доме. Больше не делаешь этого с мальчиками в лесу.

Горжик издал нечто вроде смеха.

– Хорошо, что ты уже делал это. Так лучше. Ну что?

Горжик ослабил пальцы на ошейнике. Мальчик рывком сел и сказал:

– Хорошо, мы сделаем это, только сними его. Прошу тебя... В нем я ничего не смогу.

– Нет, он останется, – опять фыркнул Горжик. – Видишь ли, если на ком-то из нас не будет ошейника, то не смогу я... а мне пока неохота надевать его на себя. Может, в другую ночь и надену, но не теперь. – Взгляд Горжика вновь обратился к небу, но луну сейчас заслоняли только легкие облака. – Тебе это странно, варвар? Постарайся понять: это лишь часть цены, которую платят за цивилизацию. Огонь, рабство, ткань, монета и камень – вот основы цивилизованной жизни. Одно или другое порой неразрывно связано с человеческими желаниями. Я встречал людей, которые не могут есть пищу, которую не подержат как следует над огнем; другие, вроде меня, не могут любить без каких-нибудь признаков власти над предметом любви. Тебе этого не понять, верно, варвар?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.